



ЕЛЕНА КРЮКОВА

ХОСПИС

16+

Елена Крюкова

Хоспис

«Автор»

2018

Крюкова Е.

Хоспис / Е. Крюкова — «Автор», 2018

К старому отцу вернулся пропавший сын. Когда-то давно мальчик убежал из дома. И вышло так, что на долгие годы... Отец-врач видит - сын неизлечимо болен. Устраивает сыну хоспис на дому и заботится о нем, как может. Сын, лёжа на смертном одре, рассказывает старику отцу всю свою жизнь. А жизнь у него была просто невероятная, полная невысказанных приключений и потрясающих событий...

© Крюкова Е., 2018

© Автор, 2018

*Встал и пошел к отцу своему.
И когда он был еще далеко,
увидел его отец его и сжалился;
и, побежав, пал ему на шею и целовал его.
Сын же сказал ему: отче!
я согрешил против неба и пред тобою
и уже недостойн называться сыном твоим.
А отец сказал рабам своим:
принесите лучшую одежду и оденьте его,
и дайте перстень на руку его и обувь на ноги;
и приведите откормленного теленка, и заколите;
станем есть и веселиться!
ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.*

Евангелие от Луки, глава 15, стих 20 – 24

Часть первая. Отец

Старая штора течет, стекает тяжелым расплавленным чугуном на подоконник, собирается на нем в мертвый ком. Вторая занавесь, рядом, обреченно падает на пол. Обе занавеси не из шерсти, нет: из иной материи. Жизнь дошла до той черты, где вещное становится незримым, а легчайшее – весящим столь же неподъемно, как жидкий металл. Говорят, булавочная головка звезды в небе, до нее не долетишь никогда, весит столь же тяжело, как сердце. Как больное сердце. А бьется все: и кровь в ушах, и сердце в убитом на бойне быке, еще стучит, торкается: тук, тук, – когда электродом в мокрый нос зверю ткнут. Тяжести предела нет. Все тяжелее и тяжелее. Все туже смыкается кольцо. Какое кольцо? Хорошо бы живых рук. Да умерла любовь. Тяжела была, а скончалась – и легче легкого, блаженней блаженного кажутся отсюда, издали, ее выкрашенные красной соленой кровью крылья.

Старый вор Матвей горбился в кресле у окна. Обивку кресла всю, сплошь, исцарапали кошки. Кошек у Матвея две, и они драгоценной породы, восточные, черти, то ли из Каира котят привезли, а то ли из Бомбея. Забыл. На самом деле не вор он никакой, это он сам себя так называл: всю жизнь хотел быть вором и ходить по тонкому и страшному лезвию жизни, а стал врачом, и хорошим врачом: к нему на прием все всегда мечтали попасть, из дальних краев в больницу к нему народ живыми ручьями стекался, руку его, склонясь, ловили и целовали ему руку, как священнику, толкались, толпились, у кабинета его ругались – кто быстрее на осмотр к Матвею попадет. А он выходил, в былые годы бодрый, крепенький, военная выправка, окончил в свое время военную медицинскую академию, и даже на войну попал, на целых три года, в далекие горы, где песок пустынь забивает глотку при сильном ветре, сколы гор блестят больно, хрустальные, и стреляют густо, пьяно, и чаще – попадают, и он, хирург военного госпиталя, загадал тогда: пуля в меня – попрошу вынести на воздух, под небо, буду в небо смотреть и прямо туда улетать. Сам смеялся над собой. Он превосходно знал: никакого неба нет, и души нет, есть только проклятое тело, и, когда его режут, пробивают пулями и осколками, оно откачивается служить тебе, и ты просто перестаешь существовать. Так все просто.

Матвей не верил в Бога. А может, верил, он сам не знал. С годами ему стало казаться, что да, Бог есть. Но эти мысли не приносили умиротворения. В больнице он дошел по лестнице доверху, на самый высокий этаж – отдуваясь, шепотом ругаясь, а людям улыбаясь: стал врачом-царем, врачом-владыкой, и все его уважали, и все почитали, и люди из деревень, встречая его в коридоре, кланялись ему в пояс: дохтур наш ты знаменитый, спаситель! Матвей снисходительно похлопывал больного старика по плечу: сиди, сиди, тебе сперва надо обследовать

довать то, потом сё, а потом я анализы погляжу, а потом решать будем, что делать с тобой. "Исделайте со мной чё-нить, дохтур, дорогой!" Мужики словно бы выползали из времени, что умерло давно, о таком времени только в книжках дети читают – раскосые, морщинистые, щеки как хлеб ржаной, зачерствелый, бельмастые радужки, белые, инистые иглы бровей, бородки – сивые мочалки, и моргают часто, и пиджачки нелепые, и мокрые растроганные, всклень налитые надеждой глаза кулаками вытирают.

Больные. Боль. Больница. Он сам испытывал в жизни боль, но он не верил, когда от боли кричали люди и корчились, и простыню грызли, и кулаки прокусывали. Он сдвигал брови: ну что, потерпеть не можете, слабодушные?! – да, он считал такие вопли малодушием, истерикой. Человек создан так, знал он давно, из курса психологии, что он себе попускает все. Он себя жалеет. А жалеть не надо. Нельзя.

Чугунная штора застывала. Он вытянул вперед руку. Толкнул занавесь кулаком. Будто боксировал с жалкой тканью. Жизнь дрогнула. Жизнь подалась под кулаком и поплыла, и закачалась, и заструилась вниз. Теперь обе шторы висели строго и тоскливо, закрывая от него окно с немывтыми стеклами, за тусклой стеклянной пленкой шелестела и вспыхивала чужая ненужная жизнь, ночная, перламутровая; далеко, меж домами, тусклым серым, гладко обточенным гранитом просвечивал каток; фонари горели мрачными кошачьими топазами, рекламы рассыпали по сугробам крупные турмалины. О, белая парча. Опять тебя земля напялила. И не надоест земле, старой шлюхе, обряжаться в эти холодные, никчемные одежды. Зимние гиматии все равно растают. Истлеют под солнцем. Еще нескоро. Еще поскрипит время, издаст и хрипы, и крики. От боли будет кричать; а он назначит ему обезболивающие уколы. Как все просто!

Он прикрыл глаза. Тяжелые красные веки напоззли на радужки, на зрачки. Лицо, с толстым мясистым носом, в смешных дырках пор, чуть подрагивало. Седые брови кустились. И брови дергались; возможно, это уже начинался старческий тик, он не знал. Остановил подергивания усилием воли. А глазные яблоки дергаются? Может, это нистагм? Последствия недавнего церебрального криза? Ах, ты знаешь, Матвей, на самом-то деле ничего не лечится; врач только делает вид, что он лечит больного. Все умрут, и больные и врачи, ты же это лучше всех знаешь. Что же ты так беспокоишься? Или жить тебе охота, жить?

Чуть наклонился вперед, кресло под ним позорно и пошло скрипнуло, рукою отогнул занавеску – и старым хмурым, бровастым сычом, ледяными, морозными зрачками, уставился в ночной мир за грязным окном.

Мир его настораживал. Мир был ему – враг.

Более того: мир был ему – рассеянный жиряга, тупой зевака, и его надо было обчистить, искусно обокрасть; да пороху не хватало в пороховницах.

Слишком хорошо, правильно он был воспитан, чтобы замахнуть на мир и надуть его, нагло обмануть; он боялся обидеть мир, причинить ему боль.

Больным он не боялся причинять боль – это была его работа.

Он любовался миром. Так бабенка любит самоцветами, купленными по дешевке с грязных рук, в залапанной старой шкатулке. Полюбуется, поахает, а потом закроет шкатулку на ключ.

Мир, просматриваемый через двояковыпуклые линзы его чуть вытарщенных, как у кот-охотника, расчерченных извилистой красной травой сосудов, рассеянных, уже старческих глаз, печально переливался, будто прозрачный камень в любопытных пальцах, будто друза черного мориона, один кристалл побольше, другой поменьше, а вот кучка совсем малюсеньких – черными икринками рассыпались по золотым искрам пирита. Да, мир был драгоценностью, только напрочь измазанной всякою гадостью, гадость липла к рукам, ее вонь затемняла сознание, и даже он, врач, за жизнь привыкший к ужасам и непотребствам, отшатывался от смер-

дыщего трупа убитого времени. Убитого не им – другими людьми. Отвернуться от покойника! Не смотреть! Оглядываясь назад, он видел себя за конторкой деда; он еще очень маленький, не доставал головой до ее деревянного, как у парты, скоса, поднимал ручки, цеплялся ногтями за гладкое дерево, хныкал: поднимите меня! поднимите! Он знал: наверху конторки чернильница, и ее надо увидеть.

Ему надо было все увидеть. И по возможности осязать. И нюхать, и гладить, и всхлипывать от восторга. Мир был слишком вещным, слишком пахучим, цветным и слепящим, и таким шершавым и острым, то и дело ребенок ранил ладони и обжигал губы. Мир был чересчур ярким и грозным, с ним невозможно было справиться в одиночку. Матвей пытался застегнуть на себе мир, как детскую рубашку в крупную клетку, с карманом, где был гладью вышит большоголовый утенок, в клюве утенок держал ромашку, у него были красные кровавые лапы и крылья, похожие на два пельмени. Матвей очень любил пельмени – их виртуозно, быстро-быстро, словно играла на арфе и перебирала туго натянутые струны, лепила тетя; Матвей вырос с тетей, а еще у него был дедушка, он вставал рано утром, в пять утра, а то и в четыре, зимою это была глухая непроглядная ночь, снега раскидывались на полмира, а дед уже стоял за конторкой, отхлебывал пылающий кофе из чашечки, меньше яичной скорлупки, и быстро, так же, как его дочь лепила пельмени на кривой, густо посыпанной мукой, чтобы тесто не липло к ладоням, разделочной доске величиною в полстола, писал в толстой общей тетрадке бесконечные, длинные, с виньетками и летящими росчерками, и, видно, очень красивые слова, потому что он то и дело останавливался, поднимал перо, отставлял руку в сторону, так отставляют пальцы с горящей сигаретой, и любовался написанным.

Он писал коричневыми чернилами, то и дело макая в чернильницу узкое стальное перо, и Матвей вздрагивал, когда острый железный клюв стучал в медное чернильное дно – брызги взлетали и капали на разводы серого мрамора, дед кричал, со звоном клал ручку на золоченые рога, пытался из-за конторки и хватался длинными змеиными, нервными пальцами за могучую, в полголовы, лысину. "Деда, ты некрасиво написал?" – тихо спрашивал Матвей и нежно трогал дедушку за локоть. Дед не стряхивал раздраженно его котенкину лапку. Улыбался внуку. "Я поправлю. Поправлюсь", – поправлял он сам себя. И сам себе смеялся.

Однажды Матвей спросил, а где же его мама. У всех есть мама, а у него нет! Дед и тетка сурово смолчали. Матвей испугался их темного, как холодная кладовка, навечно молчания и больше о таинственной маме не спрашивал.

Мать Матвея бросила его, когда ему было полгода отроду. Она ушла из дома нагло и просто – маленький Мотыка спал в кроватке, мать оделась перед зеркалом, напялила на бедра теплые, с начесом, рейтузы, надела вязаную кофту, на нее свитер – на улице гулял и хищно скалил ледяные зубы дикий мороз под сорок градусов, – тщательно и туго завязала под подбородком уши заячьей штопаной шапки и на все пуговицы застегнула потертую цигейковую шубу. Она стояла перед зеркалом, восхищалась собой: в таком наряде она смахивала на рыночную торговку, а сама себе казалась девочкой Снегурочкой. Грудь выдавалась под шубенкой. Она еще кормила. И ленилась сцеживать молоко. Ее бандитский дед Мороз, с поллитрой под мышкой, ждал ее в соседней пельменной. Она поглядела на стенные часы с гириями. Гири медленно, страшно ползли вниз, к плахам паркета. Минутная кружевная стрелка лениво перемещала с цифры на цифру свое потемное медное, узкое тело. Женщина поглядела на дешевенькие наручные часики, сверила время: время везде было одно и то же, медленное, пошлое, надоевшее. Женщина, уходящая из дома навсегда, поглядела на своего ребенка, он спал в кроватке на спине, разбросав по подушке толстенные ручки и выпростав ножонку из-под одеяла. Ей захотелось на прощанье поцеловать эту голую ножку. Она подошла к колыбели, склонилась, поймала ножку и припала к ней губами. Когда она подняла голову, ее лицо было все мокрое, будто она вышла из моря, и соленая терпкая вода стекала с подбородка ей на шею и молочную тяжелую грудь.

Она пошарила в кармане шубы и вынула оттуда пустую коробку из-под дешевых сигарет. Открыла. Из коробки вытрясла на ладонь обклеенную синей бумагой спичечную коробочку. Очень осторожно отодвинула крышку. Склонив голову, неуклюже согнув шею, заглянула внутрь. В коробочке, на вате, оцепенел темный жук. Черный, а отливал красным, будто был полит густым вареньем или намазан вишневым лаком. Жук когда-то был живой, а гляделся, как роскошная, тонкой работы брошь. Он сам по себе уже превратился в брошку, – в украшение, в мертвый святой мусор, в какой обращается любое живое тело, когда переходит запретную границу между временем и пространством. Кто его умертвил? Жестокое дитя? Ученый, надменный взрослый? Никто уже об этом не знал. И женщина уже не помнила. Она захлопнула спичечную коробку и положила ее на тумбочку около детской кровати. Жук не выползет, он умер, шептала она, уходя, закрывая за собой дверь, жук не выползет, жук не выползет, жук...

Когда явился старик, младенец еще спал. Шифоньер, откуда была украдливо вынута цигейковая шубенка, был закрыт плотно, на ключ, и ключ, как всегда, доверчиво торчал из замка – открывай не хочу. Пахло нафталином. Старик нюхом почуял, что дитя покинули, и молочная нить порвалась. Пуповина ведь тоже бывает невидимой, как все остальное: мир только притворяется видимым, на самом деле у него есть дымный, прозрачный двойник, и этот мир, колышущийся столбом золотых лучей, призрачный и легчайший, и есть настоящий, а тот, что состоит из тяжелых и грубых вещей, – лишь его слепок, его воплощенный ужас, кривое его зеркало.

Старик сел сначала на корточки перед колыбелькой, руки его вытянулись и ослабли, валялись на коленях, как вялые бельевые веревки; потом он грузно и больно сел задом на паркет, он чувствовал себя собакой, которая все понимает, а говорить не может, как человек, – и не может даже, как собака, отчаянно лаять. Он крикнул раз, другой, и правда будто взлаял, прохрипел нечто, не поддающееся ни разумению, ни объяснению, – и так, с бульканьем в горле, дергая кадыком, застыл, безучастно глядя на сопящего в кровати ребеночка, отныне ставшего его ребенком. Кроме удравшей беспутной дочери, у старика оставалась еще одна дочь; беспутная была красавица, и знала себе цену, и все зеркала гасли, когда она шла мимо них, а у мужчин увлажнялись губы и болело в паху, – а приличная и домашняя слыла уродиной, какой свет не видывал, хотя, если вдуматься, ничего особенно страшного в ней и не было – сивые, гладко зачесанные в кукиш на затылке, бесцветные волосы, будто сызмальства, впрок обзавелась сединой, малюсенькие свинячьи глазенки, с виду подслеповатые, а примечали всё, шершавые, в красных цыпках, короткопалые руки, на шее зоб величиною с куриное яйцо, когда она глотала, шея вздувалась, как у индюка, – и рябины, ох уж эти рябины, ямки по всему опухшему, в подкожных жировых горошинах, бледному лицу! Вторая дочь старика в детстве перенесла оспу и чудом осталась жива. Ее выходил отец. В школе ее задразнили: "Сито-решето!" Она безудержно плакала ночами и надумала наложить на себя руки – хотела броситься с балкона. Отец подрос и ухватил ее за юбку, когда дочь уже переваливалась кургузым телом шаром через крашенные масляной краской перила. Оба орал. Внизу собралась толпа. Отпоив дочку валерьянкой, обвязав ей лоб мокрым полотенцем, отец шептал: "Жизнь такая хорошая, дочка, ты знаешь, я вот в тюрьме сидел, когда ты еще не родилась, так и в тюрьме выйдешь на прогулку, а небо такое синее, аж плакать хочется! От счастья! А ведь меня в тюрьме могли расстрелять! Убить, ты понимаешь! А я – от синего неба – коровой реву! Нет, ты понимаешь?! понимаешь?!.." Дочь утыкалась лбом и изгрызенными оспой щеками в колени отца, бормотала: понимаю, я всё, всё понимаю, всё.

Эта вторая рябая дочь, придя из магазина и увидев отца, в бессильном ужасе сидящего перед спящим внуком, бросила сумки с едою, села на пол рядом с ним, крепко обняла его полной, округлой рукою, прижала его этою тяжелой, крупной рукою к себе, больно, за шею ухватив, и властно сказала: "Отец, не плачь, я Мотьке хорошей матерью буду".

И она стала Матвеем хорошей матерью. Самой лучшей.

Она наряжала Матвея в простецкие тряпки, а будто бы в роскошные, сказочные, и мальчонка нелепо гляделся новогодней елкой: бархатная курточка, перешитая из бабкиной юбки, рубашонки с кружевами на обшлагах, – мальчишки во дворе хохотали над ним и тыкали в него пальцами: "Барчук!"

Она наряжала, раз в год, старику и мальцу волшебную елку, покупала ее на рынке около вокзала, гремели и выли поезда, тетка ходила по хрусткому снегу в валенках и выбирала елку, щупала черные колючие ветки, не осыпаются ли иголки, когда срублена, наперед или неделю назад, просили трешку – торговалась за рубль, привозила домой в тряском, звенящем всеми дощатыми костями трамвае, разматывала веревку и, кряхтя, ставила елку в крестовину, сама мазала позолотой сосновые шишки, сама вырезала и клеила снежинки, нацепляла на колкие еловые пальцы самоцветные человечьи кольца, мишуру и стекляшки, и Марк, голову задрав, долго глядел на красную звезду на самой верхушке: звезда топырила пять лучей и обещала такое счастливое будущее, что перед его ослепительным светом хотелось восторженно застыть в карауле оловянным солдатиком.

А отца Матвей не знал и никогда не узнал; у него было чувство, что он родился на свет безо всякого там отца, просто так, от одной матери. Думая так, он не догадывался совсем, что это в какой-то мере святотатственные мысли. Да что с ребенка возьмешь? Ребенку весь мир – одна огромная дерзость, он зажигает спичку и бросает ее в сугробы подушек, в торосы матрацев и наволочек.

И мир загорается в один миг, и горят весело и дружно его пух и его перья, его доски и его кирпичи, горят, обгорают и рассыпаются в золу, в прах, и не является больше никакой Бог, чтобы собрать этот прах и заново слепить из него нового, безгрешного человека. Никуда мы не уйдем от греха. И, если мы от него и вправду уйдем, – мы больше никогда не узнаем, что такое покаяние и прощение, и что такое слезы радости при чудесном избавлении от великого горя.

Мир горел вокруг Матвея обычно ночью. Фонари и рекламы разрезали черный плотный, как траурный драп, воздух, ветки сучили в пустоте, за гаражами задушенно кричали женские голоса, обрывались гнилой веревкой. Что-то страшное за гаражами происходило: кого-то насиловали, кого-то били, а может, и убивали. Тетка водила Матвея за руку до самого стыдного отрочества, он, уже взрослый мальчик, вырывал руку из ее потной полной руки и верещал: "Пусти, надо мной все просто ржут, они говорят, у меня уже усы растут, а я все за юбку держусь! Это ты держишь меня, ты!" Тетка вздохнула, выпустила руку приемного сына: голубь, лети! – а на другой день пошла в аптеку и купила ему изделие № 2 в грязно-желтой плотной бумаге, изготовленное на Баковском республиканском заводе резиновых изделий. Матвей таранился на свой первый в жизни презерватив. "Что это?" – брезгливо спросил он тетку, уже зная, что это неприличное, гадкое, – то, о чем говорят курильщики с ножами за гаражами. "Воздушный шарик!" – зло отчеканила тетка, потом обняла Матвея толстыми, будто из пышного вкусного теста, руками, прижала к животу его всего, как голодного котенка-найденыша, и заплакала. Время отмотало еще шматок черной шерсти от плотного своего клубка, и человеческий котенок уже внаглую играл с ним, катал лапой по навощенному паркету, мимо бесполезной старомодной конторки, похожей на вертикально вставший из земли гроб.

Гроб этот светился ночью. Матвей, настоящая сова, долго не мог заснуть. Он ворочался в кровати, его увеличивающееся на глазах, лезшее из детского времени вон, как тесто из тесной кастрюли, тело страшило и мучило его, он вскакивал, подбегал к окну, резко, будто срывал бинт с присохшей раны, отпахивал шторы и таранился на горящий далеко внизу, за окном, темный мир. Пожар мира отражал небесные огни – земля шевелилась, вспыхивала и гасла живым зеркалом неба, далеко вверху шел смертный бой, а земля пыталась его повторить, скопировать; у нее это получалось плохо, нелепо и наивно. Звезды, планеты, Луна были живые, а земные огни, что ползли внизу, под балконом, под его налитым тоской окном, живыми только притво-

рялись. Стекланные фонари; трамвайные дуги; пылающий радужный неон, отравленной кровью пульсирующий в прозрачных трубках – насквозь на ночном рентгеновском снимке был виден пошлый, обманный мир, со всеми красными и синими ветвями его сосудов, с кривыми, то хрупкими, то конски-мощными, костями его скелета, с шевелящимися его потрохами, с его вспыхивающими тысячью светляков, размеренно дышащими, усеянными огнями бронхов и альвеол, бесконечно танцующими легкими: взад-вперед, взад-вперед колыхал северный ветер его продрогший, измученный город, и город становился миром, а мир превращался в огонь, огонь рассыпался, разъединялся на брызги и искры, на клетки и молекулы, корпускулы адского света, и Матвей, сквозь немытое стекло, оглядывал ночную огненную вакханалию и спрашивал себя: что будет с тобой, когда ты из человека станешь огнем? Он уже знал, что покойников сжигают в крематории. Многих соседей из их дома так сожгли: и Соньку-с-протезом, и старую Мару, и монгола Доржи, ну, Доржи сам попросил, он завещал его сжечь и пепел развеять по ветру, когда он будет умирать и входить в состояние бардо. Матвей отворачивался от окна и взглядывал на дедову конторку – тетка вздыхала: "Давно надо увезти на дачу, распилить на дрова и сжечь в печке!" – а конторка вдруг начинала светиться изнутри, дерево испускало нежное голубоватое свечение, на сосновом скосе появлялись круглые, отчаянно, как с иконы, глядящие деревянные глаза, восстававшие из глубины забвения, – эти древесные глаза тоже начинали светиться, разгораться, приближаться, и весь деревянный столб обращался в столп, и на нем в ночи стоял дед, настоящий столпник, и безмолвно молился, скрипя железным пером, и рот его повторял за бегом пера невидимую вязь единственных, небесных слов.

Матвей слышал эти слова. Сквозь деда было всё видеть – весь мир, что огнями вздрагивал за его костлявой, как у вяленой рыбы, спиной, язва и клеймя дедово поджарое, волчье тело, знавшее тюремный голод и лагерные истязанья; огонь вспыхивал и гас – это так билось дедово сердце; огонь гас и возгорался опять, и ударял по глазам – это была светящаяся кровь в стенки аорты, и Матвей, подросток, что уже видел смерть в лицо и проклинал ее, и молча ужасался ей, – ночью, при тускло светящейся конторке, смирялся с ней. Преподобный Даниил и Симеон Дивногорец, Алипий, что стоял на столпе шестьдесят шесть лет, и Феодосий Едесский, преподобный Лазарь Галисийский и Никита Переяславский, Савва Вишерский и Лука Новый Столпник, Кирилл Туровский, коего почитают в глухих медвежьих чашобах Полесья, и преподобный Иоанн, сквозь чьи морщинистые руки утекали десятилетия и ручьями слезных молитв текли, обвивая подножье столпа! Вы все родились на свет младенцами, но, сдается, вы все сразу стали старики и молельщики. Письмена ли, слово, излетевшее из скорбного, потерявшего все перлы-зубы, бессильного рта – все равно! Лучшая молитва – слезы. Плачь не плачь, все умрем. Дед лежал в соседней комнате. Он уже не вставал за свою любимую конторку – скрести по бумаге пером. Он скреб губой о губу, пытался выдавить слово, но не получалось ничего. Он так и умер, шевеля беззвучными губами, силясь вымолвить, донести до людей, что безучастно, зная все, окружали его, ту тайну, что узнал на самом пороге, на выходе. Он тоже уходил от Матвея, как когда-то его беспутная мать, и тоже навсегда.

Гроб заказали и правда как две капли воды схожий с его рабочей конторкой. Дед спокойно лежал в гробу, а Матвею казалось – это он лежал, а дед стоял, просто стоял, закрыв глаза, и думал о тайном, святом и счастливом. Записать эти мысли уже нельзя было никому. Рябая тетка, стоя у гроба, держала Матвея за руку, как ребенка. Как тогда, когда она вела его, великовозрастного, из школы под смешки и улюлюканье ровесников. Она смотрела на лицо мертвого отца и все сильнее сжимала руку Матвея. Слезы затекали ей в рябины.

Ночной мир знал все о смерти. И, как ни странно, он знал все о жизни, – но о такой жизни, какой не знал и вряд ли узнал бы сам Матвей: опасной, подлой, развратной, приторной, пьянящей, – преступной. Коньячный вкус преступления уже тек у Матвея под языком. Он сосал его, как леденец из жестяной круглой коробки, эти твердые цветные леденцы тетка называла изящно и манерно: монпансье. Он примерял преступление к себе, как новый костюм

перед зеркалом – идет ли, впору ли. Он, такой воспитанный, приличный, завидовал вора и пьяницам, вздыхал, мечтая о жизни скитальца и злодея, разбойника либо авантюриста. Они свободны, шептал он сам себе, свободны, свободны! А ты кто такой? Что ты можешь? Что ты успеешь?

Эта огненная, пыточная мысль: УСПЕТЬ! – точила его мозг и ржавчиной больно разъедала душу, а он утешал себя, обманывая: ржавчина это позолота, камни это хлеб, ненависть это любовь, и делу конец. Успеть – это не означало успеть урвать, слямзить, обокрасть, продать и заработать. Успеть это значило сделать то, к чему чувствуешь себя призванным. Открывалась дорога: учиться, работать, все как у всех. Ночами он слушал себя. К чему призван он?

Однажды случилось так, что он напился сухого вина в теплой компании и опьянел хуже, чем от водки. Люди, кто пил и гулял с ним, подхватили его под руки и повели; он не понимал, куда, зачем. Как получилось, что они все, пьяным гуртом, закатились в сумасшедший дом? Видать, кто-то из пирующих оказался врачом, и, может, тою ночью у него было назначено дежурство. Врач провел их в больницу с черного хода; они шли мимо котельной, мимо ящиков с углем, черно, адово блестящим острыми сколами. Пьяненькие ввалились в ординаторскую, чьи-то руки подносили им стаканы с разведенным хлорным хрусталем воды спиртом, чьи-то губы смеялись. Спиритус вини, девяносто шесть градусов! Разбавили как надо, не сумлевайся, старик! Алкоголь подействовал, что удивительно, не убийственно, а лечебно. Разум прояснился. Телеса взбодрились. Говорили умно, блестяще, высокопарно, касались вечных тем и драгоценных материй. Воздух тек сквозь пальцы светлым шелком, время сыпалось на пол табачным прахом, серым, серебряным пеплом. Один друг завернулся, как в тогу, в больничную простыню. Другой стоял на четвереньках, изображая собаку, и лаял, и тихо скулил. Третий уже спал на полу, мирно подложив ладони под щеку, и щека его вздувалась и опадала, а лоб спящего пересекала таинственная сороконожка. Матвей попросил врача: "Покажи мне пациентов". Ему отчего-то стало очень нужно, важно увидеть, кто же такой здесь лежит, и таковы ли эти люди, как мы, или они так отличаются от нас, что нам до них не дойти никогда, не долететь, – они живут далеко, на Марсе, на Венере, на дикой синей звезде.

И врач пошел показывать ему пациентов.

Они оба, врач и Матвей, закутались в казенные, с жуками черных расплывчатых печатей, мятые простыни. Врач усмехнулся: кто не спит, пусть думает, что мы привидения. Скользящий линолеум гололедом плыл под кривыми, слабыми от спирта ногами. Матвей то и дело хватался за никелированные спинки коек. Когда он увидел первые лица в палатах, на ночных утлых кроватях, ему стало страшно, как на войне. Он уговаривал себя: не дрейфь! это все понарошку! я выпил много, вижу сон! С койки медленно поднялась деревянная длинная жердь. Матвей спутал ее с человеком. Наверху жерди торчала маска, она синё мерцала, у маски выпучивались два глаза в форме спелых слив и синим пламенем дрожал высунутый язык между сухих потрескавшихся губ. Матвей протянул руку – маска упала с торчащей жерди на пол. Шли дальше. Лица наплывали на лица, как скользкие листья кувшинки в гнилой заводи наплывают, гонимы зацветшей волной, на вонючие золотые цветы. Разъединялись. Одинокое вспыхивали, безмолвным отчаянием сигнала: мы тут! Мы есть! Их заслоняли ветки-змеи, усыпанные сохлыми синими листьями, и Матвей поздно понимал: это – руки, запястья и локти. А листья – бессильные пальцы. Пальцы хотели жить и умоляли о жизни. Хоть немного, еще чуть-чуть.

Под сизым, лунным деревом сидела на койке парочка: мужик и баба. Зачем мужик в женской палате, непорядок, слабо и нежно подумал Матвей горящими в пламени спирта, ночными синими мозгами, – а парочка обнялась и тихо сползла с койки на пол и так сидела на полу, обнявшись. Из-за голой, без единой посуды, тумбочки выросло большое дерево, призрачно и любовно наклонилось над ними. Пошевеливало ветвями: хотело любящих обнять. Ветви валились вниз и закрывали возлюбленных большими руками. С рук свисали Божии подарки:

медные апельсины, золотые лимоны, янтарные абрикосы, беличьи орехи. Шишки вспыхивали, обвернутые детской фольгой. Тихо сыпались на выскобленный нянечкой пол нуга и шоколад. Черт, но ведь не елка же, безумно подумал Матвей, празднику – рано! Мужик и баба пылко поцеловались. Потом легли рядышком на полу, и рука мужика невесомо, будто хрустальная, обнимала грудь бабы, обтянутую смирительной рубахой.

Врач и Матвей, в простынях, волочащихся по полу, шествовали из палаты в палату. Врач молчал – а что было говорить? Вдруг все палаты соединились в одну чудовищную, громадную коробку, и коробка поделилась на ровные секции, и из каждой ячейки на врача и Матвея глядело лицо – они выстраивались в ряды, вписанные в клетки, воткнутые в разграфленную черноту, и этот порядок пугал бесконечностью и глухотой. Люди кричали, Матвей видел, как разеваются рты, но он не слышал ни звука. Звук выключили, подумал он страшно, это всего лишь черный глупый телевизор. Лица в ячейках дрожали и разгорались, как рыбацкие костры в осенней ночи. Матвей протянул руку, чтобы потрогать в ящике одно лицо. Коснуться вогнутой близоруким стеклом щеки. Ему это удалось. Под рукой поплыла чужая больная щека, мокрая, вся в слезах. Матвей заплакал вместе с человеком. Это не были пьяные слезы.

Это были слезы человека, который все и сразу понял про страдание на земле.

Они прошли насквозь весь дурдом, и, чем дальше шли по черным, с блеском никеля коек, могильным палатам, тем яснее Матвей понимал: эти люди такие же, как мы. Такие, как ты! Тебе, больному, кружку к губам, зубам поднесут – или ему? Тому, с напрочь мокрым лицом? Все равно. Не понять. Не разорвать. Крепко, и не нами, сшит черный флаг жизни. А мы встаем то под алый, то под разноцветный, и белого, трусливого, сами боимся: боимся завернуться в белую простыню и взбежать в ней на больничный чердак, и выбежать на крышу, чтобы, раскинув руки, наконец-то прыгнуть в свое маленькое, вечное счастье.

А лица все мерцали мятой мусорной фольгой из чертовой картотеки, все отчаянно взрывались потусторонним светом в угольных ячейках, вытаращивали нефтяные глаза, текли смоляными липкими волосами, шевелили в неслышном вопле сожженными губами, и это все были люди, и они мыслили, и они любили. Матвей не мог протянуть обе руки, чтобы разом вытащить всех из черной картотеки, из ржавых секций железного бака. Он протягивал к ним крик. Молча он кричал им: милые! Родные! Я стану врачом! Я знаю, каждый достоин леченья. Каждый – на свете – болен. Во тьме – болен светом. Во свете – тьмой. Я вернусь домой! Я изучу лечебную науку. Я буду знать, как и куда накладывать повязку, как резать и кромсать. Жестоко, да! Я буду знать, как исцеляют жестокостью. Но сам жестоким не стану. Я добрым останусь.

Я просто стану лекарством. Я сворую самого себя – из аптеки.

Бинтом свернусь. Засверкаю скальпелем.

Матвей весь дрожал, как заяц в зубах у леговой, и протрезвевший врач снял с плеч простыню и закутал в нее хмельного Матвея, как в песцовую шубу.

Рассвело. Когда он, рьяно, зло умывшись, без мыла и полотенца, докрасна, до крови растирая шершавыми ладонями лицо, среди разбитого большими кафеля в туалете психушки, шатаясь и слепо моргая, вывалился на утреннюю улицу, он торжественно поклялся самому себе: ты станешь врачом.

Лечить. Воровать у равнодушных небес жизнь для земли.

Разве есть лучше, чище доля?

За его спиной неслышно толклись туманные фигуры. Они то выступали из мрака, то опять прятались в него, кутались во мрак, как в плащи и шубы, в длинные черные шарфы. Стояли, тянули прозрачные руки, на запястьях браслеты, в тяжелом серебре, в старом темном золоте пылают густой кровью рубины, озерной глубиной пугают гладкие кабошоны сапфиров и бериллов. Звон. Браслет с невидимой руки свалился и покатился по полу. Матвей вздрогнул,

боялся обернуться. Он знал: они опять все тут. Сегодня и всегда. Женщины в чепцах с лопа-
стями. Мужчины с перевязанными бинтами головами, и кровь сквозь бинты темными пятнами
медленно выступает на висках, на затылках. Дети, и крохи, и постарше; кто доходил взрослым
до пояса, кто ползал у них в ногах. Дети копошились и молчали. Одеты в разные тряпки: кто
в рубище, кто в бархаты и атласы. Девочка стояла молча, сосала палец, спиной прижималась
к женским бедрам, наступила ногою женщине на ногу, женщина разинула рот и крикнула от
боли, но изо рта не вылетело ни звука. Только странная жемчужина покатилась на подбородок,
на шею из угла рта, скользнула вниз по складкам бедного платья. Эту женщину скоро казнят.
Она еще об этом не знает. Да что там казнят! – просто убьют, подстерегут в подворотне. Она
будет отбиваться, напрасно. Смерть явится в виде змеиной удавки, ей перехватят горло и долго
будут затягивать тонкий крепкий шнурок, пока живыми ногами она не перестанет сучить по
черной наледи, по серебряной корке наста.

Девочка, в белой марлевке, подняла лицо, пристально глядела на женщину. Они не были
похожи, это не была ее мать. Но Матвей спиной видел все. Он узнал и женщину, и девочку.
Изумился: как же они превосходно сохранились. Усмехнулся: в земле так не сохраняются. В
земле истлевают, и черви съедают гнилую плоть. А тут они живые и святые, а может, такие
же грешные, как тогда, и девочка весело глядит снизу вверх, ловя глазами птичью улыбку про-
зрачной женщины. Женщина колыхается, как занавесь. Ее обнимает тьма, и на ее место встают
другие фигуры. Они выступают из тьмы, ходят сзади зеркала, водят печальные хороводы, а
потом вдруг застывают, образуя живую картину; и ничем их не сдвинуть с места, они, как и
занавесь, обращаются в чугун, в железо.

Печальная бабенка, лицо сморщено, нелепая шапчонка на затылок сползла, в коричне-
вой от старости, дрожащей руке оловянный ковшик. Из того ковшика она Матвею напиток
дала, он помнит. Да, давненько дело было, в незапамятные времена, когда в деревне мимохо-
жие воры ночью разбили окно, влезли к нему в дом, привязали его проволокой к кровати,
нагрели утюг и держали раскаленную лодку утюга над его голыми ступнями, и орали бешено,
и били Матвея по лицу: "Где деньги?! Где деньги?!" Из рта Матвея торчала кухонная тряпка,
он не мог говорить, лишь мотал головой. Вожак вытащил тряпицу и проорал ему в ухо: "Где
деньги, сволочь ты, дрянь такая?!" Матвей все равно не мог говорить – уздечка под языком
порвана была; да и денег никаких у него в избе нигде не лежало, кроме мелочевки на жизнь
в кармане пиджака. Тут подельник, оскалась, поднес горячий утюг к его ногам и прислонил
к левой ступне. Матвей не кричал. Он тут же потерял разум от боли. Не видел, не слышал и
не чуял ничего. Мир умер. Когда мир воскрес, он чувствовал, как в губы ему тычутся чьи-
то холодные, стальные губы. Железо пыталось его поцеловать, а он плевался. Вздергивал под-
бородок, кривил и кособочил рот. Холодное, свежее полилось в рот и за шею, железные губы
стучали по зубам, и мягкий, жалостливый голосок плыл над ним, уплывал под крышу, бился
о бревна сруба: "Эка ты покалечили-ти, милок, эка попытали! Ну дык пытаннай оно уж как
заговореннай, щитай! Скаже спасебочки мому Воушке, дык он зачул, што у тя в избе середь
ноче огонь пылат! И почул, што ты тут не с родныма, а с чужима вошкаесси! И дверю те
ногою выбил, вот жа умница Воушка, бажонный мой! А у Воушки винтовочка, а Воушка мой
охотник, с охотницкой грамотой, с печаттей, слава те Осподи! И спужал их, твох палачишек!"
Матвей поднатужился, шире раскрыл заплывшие кровью глаза, увидел над собою это личико
с кулачок, коричневое, крохотное яблочко печеное, щечки сморщились, глазки черными зер-
нышками сыплются, – вздохнул и опять перестал быть. И второй раз очнулся уже в больнице;
лысый доктор наклонился над его обожженной ногой, менял повязку, вокруг блеснул ледяной
кафель перевязочной, и Матвей слабым голосом возгласил: "Я тоже врач, а вы что, врач, и
сами мне перевязку делаете? не сестра? почему не сестра?" Лысый доктор вздрогнул и поднял
голову, и длинно, будто фильм глядел, посмотрел на Матвея. "Вы мне тут не указ. Я врач, вы

врач, а может, я грач! Лежите спокойно и молчите!" И Матвей лежал спокойно и молчал, как ему предписали.

В белой шапочке, далеко за чужими спинами, лысый доктор из сельской больнички тоже стоял тут, за креслом, и тихо поднимал вытянутый палец: внимание, осторожно, люди, будьте осторожны со своей дорогой жизнью, – но люди не слышали его, не видели строгий жест остороженья, они все, люди, все равно летели на огонь, перебегали рельсы перед неистово гудящим поездом, бросались в кипящий водопад, целовали, обливаясь слезами, заразного больного в губы, да много чего делали непослушные люди такого, что послушные люди ненавидели, боялись и не делали никогда. Выплывал из клубящихся темных, дождевых туч сторбленный нищий, человек с площади далекого города, где Матвей был лишь один раз и не бывал там больше; на красивой площади, поросшей каменными деревьями дивных домов и унизированной яркими драгоценными фонарями, он увидел долыса выбритого нищего, сидящего близ своей шапки, разложенной на брусчатке изнанкой вверх, и положил в шапку слишком крупную для такого маленького бедняка деньгу; бедняк вздрогнул всем телом, будто его ударили током, и забормотал на незнакомом языке горячие слова, и из пылкой речи той Матвей понял, нищий его от сердца благодарит. Сам не зная почему, Матвей взял и погладил нищего по голой голове. Ощутил под рукой выступы и бугры – бритая голова побирושки под его ладонью походила на рельефный глобус. На миг он испугался; башка бедняка и правда почудилась ему чудовищно маленькой землей, с горами и долами, с океанами щек и высохшими руслами угрюмых морщин. Он отдернул руку и опасливо подумал: не болеет ли этот тип паршой или песью какой, не захвораю ли? На родину прибыл, в кожный диспансер пошел. Там ему завели анонимную карточку и тщательно осмотрели, и все соскобы взяли. Бог миловал его. Но еще долго после той поездки мерещилась ему лысая, в буграх и кочках, загорелая до красноты голова, чуть заросшая жидкой щеткой седых волос, и слышался горячий голос, что лил прямо на его сердце кипяток восторга.

Один он сидел в кресле. А за его спиной вставал из темноты его народ. Его собственный, личный народ; у каждого за плечами толпы людей, и мозг человека устроен так, что всех людей он забывает, а помнит лишь тех, кого помнить суждено. Родные! Близкие! У него, старика, они тоже были. Да вот же они, куда ж они денутся. Чада и домочадцы. Полная квартира народу, и народ гомозится, гомонит, перемещается туда-сюда, выбегает, прибегает. Не жизнь, а сумасшедший дом! Он любил, когда в доме много людей, создавалась иллюзия тепла в самые лютые морозы. А еще вся эта толпа родного народу казалась ему залогом его собственного бессмертия; вот я размножусь, вот я впущу в двери еще человека, и еще, и еще, и оделю его богато, и заведу у себя в деревне козу для детей, и своих и соседских, а может, и корову, молоком зальемся, бабу найму, за коровой ухаживать; вот я бездомному помогу и под свой кров его возьму, а вот в гости ко мне тетка с Белого моря приедет да так у меня и останется, а вот детки вырастут и семьями обростут, а тут-то я и новый дом куплю, огромный, просторный, на всех хватит! Только мне, мне одному надо богатеть, вверх, вверх по мраморной лестнице идти!

И он шел вверх и вверх по лестнице, все вверх и вверх, и чада и домочадцы были им довольны, и хвалили его, и превозносили его, и бросались к нему, когда он с работы приходил: "Матвейюшка, тебе что под супчик подать, водочку или настоечку?.. Мотя, садись к столу! а вот она и салфеточка! салфеточку повяжи обязательно, а то рубашку жиром заляпаешь!.. Матвей Филиппыч, благодетель, устал сегодня, небось?.. Папа, папа!.. а вот я!.. а вот у меня!.. глянь, какой кораблик я сделал из щепочки!.. и он поплывет!.." Корабль уплывал, часы звенели медно и тягуче, Матвей усаживался за стол, вздергивал локтями, хватал зубастое серебро фамильной вилки, в бокал лился сок, а в рюмку – кедровая настойка, и уж несли с кухни на подносе, высоко поднимая его над теплыми ребячьими головами, дымящийся кус жареного мяса, как следует посыпанного душистым перцем, он любил изобилие пряностей в блюдах, обожал перец, гвоздичный корень и кардамон, – и поднималась в ловкой, быстрой и умелой руке врача рюмка,

и веселыми, чуть блестевшими от мясной подливки губами вкусно и щедро говорил, как пелся, тост: "Да будет умножаться процветание и счастье нашей большой семьи!" – и все, вторя ему, тоже поднимали кто что, кто рюмки и стопки, кто чашки, а кто просто стучал ложкой об ложку и неистово, от радости, визжал. Какая красота! Какая вкуснота! Он любил и умел жить, и ему казалось, он любил людей. Да еще и лечил их – это значит, помогал им; и собою он был доволен, радовался сам себе и успехам своим, и спокойна была его душа о том, что будет со всеми ними.

Он любил устраивать детям елку, а уж как они любили эти благословенные дни, когда мороз трещит, как старые половицы под веселыми ногами, и все люди тащат к себе домой на плечах туго-натуго перевязанные, громадные зеленые рулоны, осторожно несут, верхушкой вниз, колючие пирамиды, – в теплых домах елки будут украшать, пусть ненадолго, да, они все умрут, но все хоть немного побудут царицами радостных, празднично хохочущих за накрытыми столами, наивно верящих в чудо людей. Дети водили вокруг елки хороводы, и Матвей шел в хороводе вместе с ними, время от времени смешно приседая, чтобы быть с малыми детьми одного роста; они, все вместе, пели песню про елку: спи, елочка, бай-бай! – и елка, дрожа малахитовыми тяжелыми ветвями, осыпая иглы и легкие стеклянные игрушки на наощенный паркет, слушала их всею собой, верхушкой и комлем, источая терпкий запах, и Матвею казалось, это пахнет одеколоном "Шипр". Елка так не хотела умирать! Дети кричали Матвею: "Папа, наша елка будет жить вечно, она царица, у нее корона!" Он кивал и смеялся, чтобы не заплакать.

А весной Матвей любил ходить с детьми смотреть ледоход – от созерцания ледохода он впадал в молчаливый восторг, а дети гомонили вокруг его колен, указывали пальцами вдаль, что-то непонятное разглядывая на медленно, страшно идущих по течению льдинах, – однажды они увидели на льдине собаку, дети истошно закричали: надо спасать! спасать! – а Матвей беспомощно, молча глядел, как маленькая зверья жизнь уплывает вдаль по реке, воет, задирает мохнатую морду. Он клал руки детям на плечи. Идемте домой, дети, собака плавать умеет, она прыгнет в воду и до берега – доплывет!

Но день настал, а потом и еще настали плохие, злые дни – дети Матвея, что так весело и долгожданно рождались, умирали один за другим. Его жена сильно плакала, и он не мог ее утешить. Матвей заказывал маленькие гробики в лучшей конторе ритуальных услуг, их, по его приказу, обивали лучшей тканью: белым как лилия атласом, царской красной, с золотыми разводами, парчой, – но это не спасало душу от ночных стонов, от скрежета зубовного. Матвей изо всей силы прижимал к себе худое, поджарое, как у южной кобылицы, тело жены и с ужасом думал: вот тело, и я его люблю, я в него вхожу и сочетаю его со своим телом, а где же душа? Он покрывал поцелуями зареванное, мокрое лицо жены и искал губами душу – а души не было. Сердце, вот оно, оно еще билось под его ладонью, под ее левой грудью; с сердцем вроде бы все было в порядке, на месте оно трепыхалось, – а вот душу было не поймать, не уследить. И он сделал вывод: души нет, есть только тело, все это чистая физиология, и только. Ожесточился. Сжимал челюсти. Оперировал теперь четко и зло, операционные сестры его боялись, помогали у стола, трясаясь от страха подать не вовремя скальпель, иглу или кетгут, и однажды одна из сестер, самая бойкая, спросила Матвея: "А может, вам в мензурочку – спирта налить?" Он сперва не понял, что ему предлагают выпить. Когда дошло – испепелил сестру зрачками. Сестра сдернула стерильную маску, закрыла ладонями лицо и убежала плакать. В операционную срочно пригласили другую сестру. После операции Матвей сидел молча, недвижно, облокотившись на колени, руки его в резиновых окровавленных перчатках висели мертво, как у снятого с виселицы. Ассистент подошел к нему. В руке у ассистента мерцала мензурка. "Я разбавил примерно семьдесят на тридцать", – тихо прозвучало среди стеклянных шкафов и контейнеров со шприцами. И один мужик взял из рук у другого мужика разведенный спирт и жадно выпил. А сестры стояли поодаль гуртом, как овцы, и молча смотрели.

Тот больной, на столе, умер. Сразу после операции. В палате.

Похоронные марши день и ночь звучали под черепом Матвея, он отмахивался от жуткой музыки, как от мухи, но она жужжала в ушах весь день и всю ночь. Что ни год, умирали дети. Их уносили болезни. А еще их уносили в черных клювах черные аисты плохой судьбы. Жена родила ему шестерых, и четверо ушли во тьму один за другим. Девочка, беленькая, как белый голубь, и ручонки, как крылья, все раскидывала. По комнатам босиком носилась. Жена шила ей платья, как для царевны. Умерла от острого лейкоза. Мальчик, умница, любопытный, везде нос совал, схватился на улице за оголенный провод. Он не мог даже позвать на помощь: ток сдавил ему глотку, он только корчился и умер в диких муках. Еще один мальчишка собрал в лесу корзинку грибов, хотел порадовать мать, отца и всех домашних; пришел из лесу и сам поджарил, на огромной как стадион сковородке. И сам поел. Через двенадцать часов он уже выгибался в судорогах на больничной койке. Не спасли. Еще одну девочку сбила машина. Матвей подал на водителя в суд. Он выиграл дело. Но ребенка было не вернуть.

Оставались двое детей: и оба мальчики.

Из этих двух тот, что был старше на год, по лету утонул в реке. На спор с другом решил широкую реку переплыть. Лето было раннее, паводок еще не сошел. Холодная вода. Разделся до трусов, ежился на ветру. Вступил в быструю воду. Друг плыл рядом в лодке, наблюдал, как то поднимается, то скрывается под водой круглая, под ноль стриженная голова. Судорогой скрутило ногу. Еще боролся, всплывал, дергал руками. Захлебнулся. Друг оцепенело сидел в лодке, не прыгнул спасать. Он видел, как пловец безумной рыбой разевал рот, и сквозь прозрачную водную толщу следил, как долго, вздрагивая и переворачиваясь, еще живое тело уходило под воду, в глубину, во мрак.

Мрак. Вот он, за спиной. Вон там, там, за плечами его, все они, любимые. Оставался еще один сын, последний. Они с женой тряслись над ним. Сюда нельзя, Марк, туда нельзя! Здесь не ходи, опасно! Тут плохо тебе будет, туда не надо! Ты ходишь на каток, играешь в хоккей, не надо, брось, вдруг шайба полетит тебе в лицо, разобьет черепную кость! Тыловишь бабочек сачком по холмам и оврагам, не надо, ты наступишь в овраге на ядовитую змею! Они всячески пытались сделать жизнь парня удобной, гладкой, сладкой, бестревожной. Они не приучали его работать – отец махал рукой: "Пусть живет, наслаждается! сам заработаю! еще наработается!" Матвей совал сыну деньги: на вот, возьми, на что тебе нужно? на это, и вот еще на то? на, на, держи! Сын рос наглым и веселым. Модно одевался. Отец сам покупал ему одежду в лучших бутиках. Сын просил машину, Матвей отчаянно тряс головой: "Ты разобьешься!" Сын кричал: "Так я же достану денег и без тебя, скупердяй!" С друзьями он ограбил заштатный, на окраине города, магазин. Дружков быстро вычислили и арестовали. Сына не тронули: Матвей дорого заплатил за него. Последний! Единственный. Он будет жить!

И был день. Золотом светились деревья. Грязь плыла под ногами. Промозглой осенью его последний сын исчез из дома. Ему было всего шестнадцать лет. Вместе с ним исчезли его паспорт, брильянты матери, оправленные в золото и в серебро, из старой шкатулки на родовом шкафу, и все деньги из бумажника Матвея.

"Вор, вор, – шептал Матвей бессмысленно, – вор, вор, куда теперь? Что теперь? Вор..." Сын из домашнего модного мальчика нежданно стал вором и беглецом, и все чаще Матвей приказывал ассистенту: налейте немножко в мензурочку, тяпну, что-то руки дрожат. Он заливал в себя спирт – руки дрожать переставали.

Но в пьяницу пока не обратился: крепился, держался на обрыве, а внизу дышала пропасть подлинного безумия.

Жена недолго прожила после бегства сына: она угасала быстро, так горит церковная свечка, нежно и торопливо, то и дело вспыхивая, и крючится черный фитиль, и ползет вниз, на медь подсвечника, тускло-золотистый, дынного цвета воск, и быстро застывает, прежде горячий, становясь желтым мрамором, – слезным памятником. Матвей поставил жене памятник из

светящегося золотистого карельского мрамора. Он все чаще думал о том, что душа есть, но он не мог понять, где же она, паскуда, прячется. И она ли вызывает на глазах стыдные для мужчины слезы, и слезы вскипают, а потом остывает кипяток, и остывает земля, и стыннут бесполезные надгробья и гладкие как лед мраморные плиты на далеком кладбище. Дети и жена были похоронены рядом – для всех он щедро купил землю, в одной могиле их схоронить не смог.

Ряд могилок, кресты в ряд, в солдатский ряд памятники. У каждого свой. Вот, жизнь земная оканчивается в земле, и родня возводит каменные суровые квадраты и круги, чтобы помнить! А что – помнить? Разве этот мрамор – живые руки и губы?

Они за спиной. Ты слышишь, Матвей, они у тебя за спиной.

Фигуры перемещались, меняли очертанья, меняли позы – стоящие сгибались, лежащие поднимались, кто садился на корточки и закрывал ладонью глаза, кто тихо шаркал прочь, поворачиваясь горько молчащей, сутулой спиной, и свисали с плеч лохмотья, и не мог он ничего теперь поправить, не мог им вместо изношенной хорошую одежду купить, не в собачью миску, а на фарфоровую сервизную тарелку изысканной еды положить. Тебе что, тетя Кира? Кроватки под майонезом? А тебе что, Витюша, милый? Курочку, жаренную в сухарях, с чесночком? Ешь, ешь скорей, ты на реке замерз, в реке ой холодная вода! У тебя кожа... в гусиных пупырышках... ешь, сейчас согреешься, быстро...

Фигуры плыли и уплывали, и вдруг опять возникали, прибором тьмы выбрасывал их на берег света, и спина Матвея опять становилась зрячей. Он видел все. Нежным золотом отсвечивали щеки. Крупными кабошонами тускло, солёно блестели глаза. Пальцы были серебряны и остры, острее ножей. Сквозь лохмотья и отрепья просвечивала опаловая белизна мягкой живой кожи: колени, локти, груди. Это все были его сокровища, и он мог их рассматривать и осязать, даже не оборачиваясь к ним. Живые! Они все живые, и опять надвигаются. С закрытыми глазами, в кресле, он спиной, старыми лопатками, вздрагивающими под давно не стиранной рубахой, пытался разглядеть, восчувствовать, кто сегодня с ним, что нынче хотят от него его чада и домочадцы, его грустная молчаливая жена и его скромные, воспитанные дети, что жмутся к ногам взрослых, переступают с ноги на ногу, стискивают перед собою крошечные стрекозиные ручки. Его богатство! А может... Он боялся подумать об этом и все-таки думал. Мысль летела вперед его желанья. Может, это все лишь призраки, и он, как и был, – одинокий?

Вор, вор, я вор, бормотал он себе под нос, жизнь бы своровать, да не хватит ума. Смерть своровать? – а тут силы не хватит. Мужества. Он, врач, видал в своей работе и самоубийц; их привозили разнообразных, кого со странгуляционной полосой вокруг шеи, удавленников, значит, кого разбитого в лепешку – сигали вниз из окон, с балконов, – кого с водою в легких, несчастных утопленников; привозили, сгружали в приемном покое тяжелыми бревнами, кричали ему, хватили его за полы халата: "Доктор, спасите! доктор, а может, он еще живой! доктор, глядите, она же еще дышит!" – тогда он брал мертвеца за руку и делал вид, что щупает пульс, сдвигал сурово брови, потом мертво глядел на дрожащую родню и изрекал, последний судия: "Кончено. В морг". Он пережил всех своих, и он не хотел вслед за ними. Чем плотнее его обступала смерть, тем неистовее он жаждал жить. Он только никому, кроме себя, в этом не признавался.

Хоть он и стар был уже, настолько стар, что стал уже путать времена, и частенько ему казалось – за окном на ветру мотаются красные флаги, и шелково, подхалимски переливаются под тусклым масляным шаром холодного солнца, – однако он еще работал, правда, оперировал все реже, и все чаще консультировал, и все толще становились плюсовые стекла в его старых очках, – дужки отвалились, и он приделал к оправе резинку и так, на позорной потешной резинке, вздевал совиные мутные очки себе на потную переносицу. Старый, а с работы не гонят. И на том спасибо.

Каждое утро надо было встать и привести себя в порядок. В порядок себя приводить становилось все труднее. Труд – принять душ и крепко растереться жестким полотенцем. Труд

– вскипятить чайник и пожарить яичницу. Труд, и ужасный, – одеться. Он не умел и не любил одеваться. Он с одеждой мирился. Когда была жива жена, она его одевала, любовно и заботливо. Она даже мыла его в душе; он садился в ванне на корточки, и она окатывала водою его лысеющую голову и размазывала по ней горсть шампуня. А потом терла мочалкой. Вздыхала: "Мотя, ты у меня такой красивый!" Не видела его обвисшего живота, высыхающих ног, лысины. Она любила его.

Жена, ты ушла. Далеко, отсюда не видно. Он шел в больницу и шевелил губами беззвучно: я вор, я вор. Вот я своровал у времени еще одну ночь. И сейчас сворую еще один день. День был и правда драгоценный: он сиял во всю ширь неба грязными стеклами больничного вестибюля, скалился беззубой улыбочкой больничной гардеробщицы. Здрасте, Матвей Филиппыч! Он сухо кивал старухе. В здании пять этажей, а лифта нет. Что ж, это полезно, ноги пусть ходят по ступеням. Ножки, шевелитесь. Он поднимался на второй этаж и уже задыхался, будто тонул, а подходя к четвертому, к своей хирургии, пыхтел как паровоз.

Беспощадный дневной свет заливал ночные, сонные лица. Больные лежали, вставали, ходили, и все как во сне. Они ничего не хотели, и они хотели всего. Они хотели, чтобы он сказал им, как правильно своровать здоровье. Украсть: с богато накрытого, с винами и заморскими фруктами, стола, из ящика старого, с тараканами, нафталинового шкафа. Струились вниз простыни. Горбилась чья-то спина под пятнистым халатом. Пояс развязывался, халат падал на вымытый с хлоркой пол, и ночная рубаша лилась кислым молоком, и в ее вырезе обнажалась коричневая, горелая плоть – высох пирог, зубом не укусишь, зуб сломаешь. Кожа да кости. Всех в землю положат! Матвей подходил к больной, клал свои ловкие, воровские руки ей на плечи. Лягте! Я вас осмотрю. Старуха послушно ложилась. Панцирная сетка лязгала. Матвей вел кончиками пальцев по лбу, по ключицам, бабка, кряхтя, трудно переворачивалась на живот, он мял жесткий хребет, и под его пальцами звенели ксилофоном и уплывали прочь легкие деревянные позвонки. Доктор, что у меня? Только не врите мне! Он беззастенчиво врал больной: дела на поправку! Выходя из палаты после обхода, кивал медсестре и бросал на ходу: эта бабуля, у окна, умрет завтра вечером. А у нее есть родня, деловито спрашивала сестра, поправляя на лбу белую шапочку и кокетливо глядясь в Матвея, как в зеркало в коридоре. Нет никого, одна она. Сразу куда надо везите.

Эти люди, они блуждали вокруг. Обступали его. Больница уже была не больница, а его странный странноприимный дом, его бедняцкая гостиница, где накладывали холодной каши в казенную тарелку, а по палатам носили в клетке волнистого попугая, чтобы он почирикал людям их глупые, людские слова, и они на миг забыли о своих страданиях. Птица в клетке! Они все тоже сидели в клетке. Только не вылететь уже из нее. Падают простыни на пол, их подхватывают и заворачиваются в них. И так стоят, в белых, в желтых тогах. Счастливы те, кому выдали цветное белье, розы, маки по подолу. Волнистый попугайчик картавит, скрежешет по-человечьи. Кривой клюв шелкает, раскрывается и закрывается. Да он не живой, а заводной! Игрушка! Попугая обступают люди в античных тогах, птица косит хитрым блестящим глазом, синим с золотым ободком, и хитро думает про людей: я настоящая, а вы все игрушки.

Люди перемещались по палатам и коридорам, шастали в отхожее место, несли в дрожащих руках грязные тарелки на кухню; и люди лежали, и лежачих было больше, чем ходячих. Лежачих надлежало жалеть больше, но внутри Матвея не осталось жалости. Подходя к очередной койке, он хватал все с ходу цепкими глазами: возраст, кость срастется плохо. Щитовидка, грубый шов, белые губы, голос низкий и хриплый, началась микседема, лишку правой доли оттяпали. Откидывал простыню. Отлеплял от живота пластырь. Удаляли аппендикс, а шов разошелся! И температура, и сколько? Под сорок? На стол, у больного перитонит, начинается сепсис! Не углядели! В хирургии много чего можно не углядеть; если с ножом лезешь внутрь человека, ты разрезаешь в нем вековые связи. Сокровище на куски кромсаешь. После склеиваешь, сшиваешь; напрасно.

Он шагал по больничному коридору тяжело, медленно. Входил в палату. Прикрывал за собой дверь. Клетка с говорящим попугаем стояла на подоконнике. Матвей садился на край койки и робко и мрачно, исподлобья, оглядывал палату. Так сундучный паук оглядывает свое ветхое богатство: тряпки, ложки, чашки, отрезы. Под сводами слепого потолка ходили слепые. Они не хотели видеть смерть. Шамкали смешными ртами. Обсуждали чью-то участь, не свою, нет. У кого мерзла голова, тот сидел на койке в вязаной шапке, и ноги кутал в одеяло. Вчера прооперировали рабочего речного порта, он упал с подъемного крана; его задранная нога торчала в туманном воздухе, белое березовое полено, прицепленное к железным стержням и подвескам. Так он будет лежать месяц, может, больше. Надо сказать близким, пусть веселые книжки ему принесут. Операцию делал другой врач, не Матвей: моложе втрое. В сыновья ему годился. Иногда больные в полутьме оборачивались к нему, и он дрожал: у них были странные лица его умерших сыновей и дочерей.

Чуднее всего в палатах было вечером. Вечерний свет менял лица и фигуры. Люди из больных становились царями, слугами, насекомыми. Гранитными, бронзовыми памятниками. Поднимали руки и так стояли, указуя путь. Зеленый маленький попугай вылетал из клетки и садился памятникам на плечи, на затылок. Молчал; нечего было сказать. Когда в окне, за грязным стеклом, появлялась первая морозная звезда, попугай смятенно хрипел: "Яша хар-роший! Яша хар-роший!" Все ему верили. Этот сумасшедший старый врач, зачем он к нам заглядывает? Он стоит в дверях, не заходит. Наблюдает. Какой врач, что ты мелешь? Нет никакого врача! Есть только эта, вот эта палата. Этот кусок жизни, и он ржаной. Погрызи его еще слабыми челюстями, пососи. Очень ведь вкусно. Вкуснее не бывает. Я ничего вкуснее не едал. И я тоже. И я.

Фигуры смещались, наплывали друг на друга. Заслоняли друг друга. Из трех делалась одна. Два глаза из-под круглого черепа, обтянутого вязаной шапкой, смотрели на Матвея, и он знал, тут не два глаза, а шесть. Сам воздух обращался в зрение. Плыл и выгибался крупной, круглой толстой линзой. Палата страдала дальновзоркостью. Больные глубоко вдыхали вечерний воздух – из открытой настежь стеклянной двери, из хлорного коридора, втекал в ноздри грубый запах кухни: вчерашние пирожки с капустой, нынешняя рисовая каша, горелый завтракный омлет. Фигура в светлой, светящейся простыне подходила к окну. За окном угасал свет. Взамен наружного света свет теперь шел от мятой простыни, от плеч, укутанных в парчу и виссон. Царь, прокляни меня! Или благослови меня! Сгибались спины. Стукались об пол колени. Сильно, терпко пахло хлоркой. Глаза Матвея плавали под кустистыми, страшными бровями. Он наблюдал, как жизнь плотней запахивает тогу на груди. Как волочит за собою парчовый, жалкий подол. Его изорвала когтями эта полоумная птица! Скорей, скорей ее обратно в клетку!

А чуть позже в темной палате зажигались свечи, и больше сюда уже никто не входил и отсюда не выходил – люди застывали торосами над ледяною гладью постелей, и даже говорить они уставали, а этот доктор, чудик, он ушел или нет еще, да давно уж ушел, а он что, дежурный, а какая разница, если с кем плохо, он в ординаторской на кушетке спит. И без одеяла? Ну что ты, дурачок, с одеялом, конечно. И с подушкой. Как же без подушки. Спи-усни, угомон тебя возьми!

А нынче все эти больные, эти немощные цари и холопы вдруг пришли сюда, в его квартиру, смешались с его прозрачной, незримой роднею, и он теперь не мог достоверно различить, где родня, а где чужаки. Пытался рассмотреть их всех затылком. Мороз подирал по коже ссутуленной спины. Потные, скользкие ноздри раздувались. И легкие раскрывались, разлетались двумя парчовыми, ало-золотыми лоскутами. Когда он дышал, молчал, лежал, ел или шел, он анализировал свою хитрую физиологию: вот жидкость втекает в пищевод, вот суставы сгибаются и разгибаются, создавая иллюзию движения. Фокусы, усмехался он над собой, всюду

фокусы! Нам только кажется, что мы живем. Ведь на самом деле мы не живем. А может, только вспоминаем о жизни!

Шорох шагов, шарканье подошв по полу; солдатские сапоги, стариковские тапки. Босые ноги бегут по сухой, как кость, половице беззвучно. Не девочка, бабочка: дрожит крыльями, они в золотой пыли, перебирает лапками. Тонкое брюшко обсыпано серебристой, мелкого помола мукой. Сахарной пудрой. Печальная старуха склонила голову. На ее костлявых плечах дырявая простыня. Она пытается закутаться в нее, как в пушистую шубу. Шуба истлела. Осталась больничная бязь, вся в казенных черных печатях. А, да это же его покойная жена! А почему она старуха? Она же молодая! Такая поджарая, горячая степная кобылица! И играет под ним. И он на ней скачет, скачет вперед, все вперед и вперед, по голой и мертвой степи. Огненный шелк, раскаленные ребра. Это все тоже обман. Где кобылица? В земле. В длинном странном ящике, сколоченном из сырых, плохо струганных досок.

Люди молчат за его спиной. Ходят тихо. Мерцают глазами, руками. Тускло гаснут одежды. Горят пальцы, как свечи. Может, он во храме? Он туда не ходил. Он был всегда атеист, сначала красный галстук, потом комсомольский значок, застылая капля красной блестящей смолы; потом уличное дежурство, дружины, красная повязка на рукаве; потом подбивали вступить в партию, а он толком не знал, что такое партия, хотя во всех газетах хором гремели ей славу, но он ее боялся, как боятся змеи в песках или волка в зимнем лесу; и он отказался, и на него в больнице косились, шептались о нем в столовой и в курилках, а потом о партии забыли: Родина лопнула по швам. Ее сшивали новыми стальными иглами и новыми суровыми нитями, и он, уже бывалый хирург, наблюдал, как на Красной площади народ танцует бешеные танцы, как новым умалишенным танцем, хороводом, парами, вприсядку люди обреченно обнимают всю страну, больную, ослепшую, и дрожащими руками она ползает вокруг и впереди себя, осязает путь, – и не нашарит.

Пояс старого красного, длинного халата развязался. Он завязывал его, и руки тряслись. Кошка черною худой лапой трогала красную кисть.

Нет, это не храм. Это дом. Его дом. И нет страха. Или есть страх? А перед чем страх? Перед этим пресловутым переходом? Переход. Он прошептал его латинское название: репагулюм. Какой, к чертям, переход! Латиняне имели в виду преграду. Забор, короча! И он подойдет к забору. Может, очень скоро. Уже пора ему. И скажет: ну вот, дурак репагулюм, давай-ка и я через тебя перейду. А может, тебя просто повалить, забор треклятый? Уронить, разрушить? Пнуть тебя как следует – и станцевать на твоих деревянных костях?

Храм. Дом. Тьма. Люди за спиной. Они ходят за спиной. Время идет по земле мерными и тяжкими стопами. Матвей страшился обернуться. Он трусил увидеть время в лицо. Закрывал глаза. Сильнее горбил спину. Он думал: время, у тебя слишком яркие глаза, горящие, острые, они проткнут меня насквозь. А я еще пожить хочу!

Сидел в кресле с закрытыми глазами. Затылок ощущал чужие дыханья. Когда-то они были родными. Вскочить, замахать руками! Отогнать назойливых мух. Призраки, родные и любимые, прочь! Вон отсюда, кыш, кыш! Холодно, насмешливо думал о себе: это работа психики, идет распад тканей, нейроны теряют силу, артерии мозга склерозируются, и делу конец.

Возник звук. Дверь открывалась. Входная? В комнату? Затаил дыхание. Губы стали холодными, а лоб мокрым. Вошли? Открыли замок отмычками?

Шаги. Медленные, осторожные. Они раздавались еще далеко.

Может, в прошлой жизни.

Я брежу, подумал Матвей, мне снится сон, и надо быстрее проснуться.

Шаги из прихожей переместились в комнату, где он сидел в кресле у окна.

Надо встать, думал Матвей беспомощно, обязательно встать!

Ноги ослабли, хилые макаронины. Он продолжал сидеть и думать о том, как он встает.

Во весь рост. И оскальивается страшно.

Важно сделать страшную маску, неподвижную, и ею, дикой, подземной, напугать бандита!

Кошка тихо, хрипло мякнула.

Он вспомнил бандюков, что прижигали ему ступни утюгом. Он уже это все пережил; зачем Бог опять показывает это ему? Одну и ту же чёртову картинку? Ты забыл, Бог, я это затвердил уже, выучил наизусть. Сейчас отбарабаню без запинки.

Люди за его спиной потемнели лицами и засветились глазами. Лица сожрала тьма, а глаза разгорелись ярче, бешеной. Они стали сбиваться в кучу. Прижиматься боками, плечами друг к другу. Они словно мерзли и хотели согреться. Как в нетопленной палате, в выставшей больнице зимней ночью.

Люди пожирали его сутулую спину и лысый затылок голодными, горящими глазами.

Он понял, почувствовал: люди хотели пищи, и ему надо было их – самим собой – накормить.

А он себя жалел, не давал кромсать никаким ножам.

Ах ты, хирург, сам-то режешь налево-направо. Сам... кромсаешь...

Шаги ближе. Ближе. Он зажмурился. Жмурься сильнее! Еще сильнее! Сейчас из-под прижмуренных век полетят искры боли, и ты займешься пламенем и проснешься!

Шаги стихли.

Тот, кто стоял за его спиной, рядом с его мертвецами, молчал.

Было слышно только его дыхание: хриплое, медленное, редкое.

Хрипы звучали громче, когда он вдыхал, у него булькало в груди. Выдыхал человек через заложенный нос, носом свистел, как чайник. Смешно и страшно.

И запах. Этот никогда не чуемый им запах.

Гадкая, рвотная смесь пота, мочи, моченого хлеба, водки, опилок, соленой рыбы, дерьма, дёрна, земли. И немного, чуть, горелой сдобной корки и яблочной гнили.

Еще чем-то пахло.

Таким, что из него вытекли, будто быстро и крепко выжали его, быстрые, стыдные слезы.

Матвей медленно, со скрипом разгибая колени, поднялся из кресла. Выпрямить спину было трудно. Больно. И ни к чему. В его выгнутые лопатки, в позвоночник вонзался огонь этих чужих зрячих глаз, его обдавал этот безумный запах.

"Жаль... как жаль... надо в кармане халата дома всегда... нож таскать... а лучше пистолет... пистолета нету... где я возьму пистолет... и главное... теперь уже поздно..."

Теперь надо было только повернуться. Больше ничего.

И он повернулся.

Две черные кошки, с хвостами-крючками, безмолвно, недвижно стояли за ним. У его внезапно ослабевших, с робко согнутыми коленями, тощих ног.

Напротив него стоял лысый старый человек.

А может, долыса бритый. А может, молодой, он еще не понял.

Иглы, колючки вместо волос. Колючее лицо. Грязь на щеках. Будто плакал грязью.

Лицо человека было ему тесно. В нем он задышался. Он глазами лез, вылезал из лица, глаза умирали на лице, проклинали все, что видели, и тут же воскресали.

Они еще могли воскресать, хотя вылезали из орбит, будто на рот лысого наступили сапогом и подошвою давят, давят, и хрустят кости и зубы.

Лохмотья на плечах. Дыры вместо куртки. Дыры вместо рубахи. Лоскуты мотаются. Вспыхивают заплаты. И опять зияют дыры, а в них светится тело, век немытое, дикое.

Не человек. Зверь. Только глаза человечьи.

Стоял он спокойно, чуть ссутулясь. Будто Матвея в зеркале отражал. В самом себе. Спокойно с виду, а внутри чуялась пружина: вот-вот вздрогнет, оттолкнется ногами от половиц

и полетит. Куда? В окно вылетит? Как ангел Божий? Или чёртово помело? Слишком лысый. Гладкий до страха череп. Яйцо костяное, и разбить его рука тянется. Ни молота в руке, ни чайной позолоченной ложки. Скорлупа эта лишь чудится хрупкой. На деле она тверже железа.

Матвей обводил его глазами. Кто это? Скулы торчат. Щеки ввалились. Кожа обтягивает черепную кость. Голоден! Это грабитель. Это просто нищий! Он просто вперся к тебе пожать. Как он открыл дверь? Ни ключей у него в руках. Ни отмычек. Ни лезвия. Плечом выдавил? Его железную, тяжелую как баржа дверь?

Матвей глаза на его ноги перевел. Ноги, Господи. Ноги. Эти ноги шли. И пришли. Дошли. Как они дошли сюда – в таких башмаках? Это же не башмаки. Это опорки. У сапог обрезали голенища изношенные, и вот то, что осталось, он истаскал вдрызг. Бродяга. Бедный.

Жалость вызвала в Матвее дрожь.

Он стал дрожать, сначала мелко, потом все крупнее, дрожь налетала судорогами и сотрясала его.

Глядел на него лысый человек, взгляда не отрывал.

Матвей дернул головой вверх и вбок, повел подбородком, пытаюсь лицом от этого зрячего огня ускользнуть. Не получалось.

Запахом страшным тянуло, обнимало.

Матвей вытянул вперед руки. Будто хотел оттолкнуть бродягу.

И вдруг бродяга качнулся, сильнее пошатнулся – и, будто кто его косой хлестанул под коленями, кулем повалился на пол, к ногам сгорбленного, зверем дрожащего Матвея.

– Отец!..

Волос за волосом стали подниматься на голове Матвея; неудержимо восставали вкруг лысины жалкие волосы, это пламя над ним восставало, обнимая его темя мрачно-красным, обжигающим нимбом.

– Как... что...

Он внезапно ослеп. Веки напоззли на радужки и зрачки. Принакрыли, упрятали от него видимый мир, и этого нелепого нищего на коленях, что так нагло, дико посмел к нему обратиться. "Это всего лишь насмешка. Абсурд. Ворвался сюда. Втек неведомо. Кем притворился?! Зачем?! Бандит, а нарядился жителем свалки! Боже! Я в Тебя не верю. Но Ты не дай ему надо мной... издеваться... этому... прибуде..."

Бритый бродяга стоял, как примерз к полу. Вошел и будто застыл; глаза застыли, руки заledenели. Губы не разомкнулись. Ой, нет, вот дрогнули и раздвинулись. Он скалился. Он... улыбался! Или сложил рот для крика? Для плача?

"Может, мне завопить и зарыдать первому? опередить его? Обмануть?"

Руки протянуты вперед. Он сам шатается и вот-вот упадет. Нет опоры. И тяжести тоже нет. Оба невесомы. Это сон, и ему придет конец. Вот сейчас! Не приходит. Длится молитва. О чем безбожник молится? Дай вдохнуть воздух. Задыхаюсь. Я тону, и толща воды смыкается надо мной. Время всасывает меня в себя. Этот лысый зверь, зачем он свалился к ногам другого зверя, и оба дрожат? Дрожь слышна. Она слышна так же, как и запах. Остался только запах, а зренья нет, и боли нет, и мыслей нет. Есть еще слух. Но и он гаснет. Нищий шепчет что-то – он не слышит. Невнятный шорох доносится из чужой пересохшей глотки. Он хочет пить, Матвей, он долго шел по земле, дай ему напиться! Он замерз и изнемог. Неужели ты не дашь ему стакан воды? Не протянешь руку? Не уложишь на матрасе своем, не укроешь теплым, верблюжьим одеялом своим? Матвей шел вперед, шагал, ему казалось, крупно, на самом деле он еле полз, ноги гладили половицы двумя холодными утюгами. Он стал видеть не глазами, чем-то иным. Видеть не только то, что моталось перед ним. А все сразу. Что сзади. Что за спиною этого лысого, бритого. Будто летел, висел вверху, под потолком. Свисала с занебесного потолка махровая, роскошная паутина. Лохмотья, коими был беспомощно укрыт бродяга, вдруг дрогнули, снялись с места, как лодки, что отвязали от причала, и тихо поползли вниз. Матвей испугался,

что он весь сейчас обнажится, и станут видны его кровавые язвы, подсохшие стружья. Тогда надо будет его жалеть и любить, а как это сделать, если превыше любви в тебе страх поселился? Его внутренние, страшные глаза видели, как с левой ступни бродяги медленно свалился опорок, и оголилась натруженная, сбитая пятка.

Эта голая пятка ножом резанула его по сердцу. По закрытым, слепо плывущим глазам. Глаза косили из-под век, плыли вдаль, уплывали, прошивали скользкими рыбьими тельцами плотную, вязкую и прозрачную толщу, – чего: воды? времени? боли? смерти? – они еще оба живы были, и оба связаны этим чудовищным запахом: так грубо и гадко, а вместе дико и мощно пахнет жизнь, и значит, они оба еще не пережили ее, не переплыли, – не прожили, и она у них сейчас, вот теперь, одна – на двоих.

Матвей, слепой, шагнул ближе к упавшему на колени мужику с обритой головой. Красный халат падал с его плеч. Нет, красный плащ, и невидимый ангел поправлял плащ ему, опять набрасывал на дрожащую, потную спину. Матвей, преодолевая страх пустоты, пошарил в темноте руками, нашарил сначала лысую колючую башку бродяги, ощупал ее, всхлипнул, потом возложил руки ему на плечи, и плечи мужика под его крепкими, твердыми ладонями хирурга затряслись, затанцевали в рыдания.

– Сынок мой!..

Это рот сам вылепил, за него. Он – не хотел.

Лысый-бритый нищий дернулся, будто под током. И опять застыл. Он повернул бритую башку и щекой прижимался к животу Матвея. Нежно, осторожно. Будто боялся грязной головой своей испачкать красные Матвея одежды, струи красного плаща, медленно стекающего с боков и груди. В шерстяном старом плаще зияли дыры. Они вспыхивали, как черные звезды, ткань разлезлась под руками. Нищий смиренно держал руки свои у себя на животе. Его повернутая набок голая колючая голова слабо светилась в полумраке. Свет гас в больших невымытых окнах, а голая башка разгоралась, как нечищенная керосиновая лампа. Лампа такая имелась у Матвеева деда, он иногда чистил ее обшлагом рукава и потом медленно, вдумчиво зажигал ее, подвертывая фитиль, пощелкивая ногтем по выпуклому гигантскому опалу, овалу толстого стекла. Мрак завладел комнатой, а нищий все стоял на коленях, отвернув набок, как гусь, голову, и Матвей все держал ходящие ходуном слепые руки на тощих плечах, с них сползали ветхие гнилые одежонки и никак не могли сползти. Матвей не помнил, когда он брился, вчера, позавчера или неделю назад, а может, не брился уже никогда, потому что ему щеки согревала невесть откуда взявшаяся борода, он косил глазом на серебряные нити, сбегавшие с подбородка на грудь, и с ужасом думал: вот я уже и старик, – а руки глупо торчали вперед, под ладонями плыла и горела гниль чужих отрепьев, оба глазных яблока Матвея вращались под мелко дрожащими веками и вдруг стали падать, слепота на миг раздвинула шторы, и он плохо и мутно увидал – из-под алого его, изношенного плаща торчат его запястья, а они обтянуты красивой богатой тканью, он, оказывается, стоял тут в шальной сорочке, небось, из модного бутика, серебряные кружева умалишенной оторочкой бежали вокруг манжет, с виду гляделись как стальные; он даже подумал: вот, торчат мои бедные руки из железных кружев! но это же бабьи кружева, мужики такую дрянь не носят! – а серебристая парча блестела, посверкивала морозной дымкой, сизым инеем, и слепой глаз косил на торчащий деревянным мячом нищий затылок, от затылка шел призрачный свет, и Матвей думал, задыхаясь: вот, я все-таки вижу, вижу, не ослеп, спасибо Тебе, Господи.

Нищий внизу, под его дрожащими ладонями, завозился.

– Да... да... Отец!.. прости...

Слепые глаза косили и плыли вдаль и вбок. Слух умирал и возрождался. Из тьмы бежали прибором светящиеся волны, плескали на ноги, на голую пятку бродяги. Матвей по-прежнему видел все целиком: и снизу, и сверху, и справа, и слева, и со всех сторон. И даже, вот ужас, видел то, что только будет. Испуг, и вместе радость. Так бывает! Он боялся: сейчас это все

исчезнет. И бродяга пропадет. Он назвался его сыном. Что ж, спасибо ему за это. Завтра с утра надо пойти в аптеку и купить там феварин. Или реланиум. Сильные психотропные препараты пока жрать не надо. Это всегда успеется. Но психоз надо немедленно снять. Это же чистой воды психоз, Матвей Филиппыч! Ты же понимаешь, клиницист со стажем! Он все понимал, да. Но нищий в отрепьях, вздрагивающий под его руками внизу, притиснувший башку к его животу, понимал больше него. И лучше него. И выше. И чище. И, сквозь этот дурнотный, дикий запах – горячее, светлее. До слез.

– Марк?..

Мрак тесно обнял их, и во мраке они оба стояли, застыв: Матвей – в рост, бродяга – на коленях.

– Я, я...

Петлю накинули на шею Матвея, и так душили, и мокрой горечью и огнем, прожигая длинные шрамы на щеках и подбородке, выходили из него, из слепых глаз его все эти одинокие годы.

– Марк, сынок... Как же так... как...

Слух опять улетучился; он не слышал, что выпускали в темный воздух его омертвелые, соленые губы.

Мрак усилился, окна погасли, а потом опять разгорелись; в них загорелся ночной мир, и Матвей не мог достоверно понять, что там за окном – поздняя осень ли, ранняя ли ледяная весна, дрожащая ли зима, колышущая синий лунный маятник от оттепели до лютого колотуна, когда вороны и воробьи замертво падают с деревьев, обращаясь в мохнатые кусочки темного колючего льда. У времени теперь не было имени. Его можно было щипать за ягодицы, за безвольно висящую руку, за ногу, за нос, бить его кулаком в скулу и в затылок – ему было все равно. Оно прекратило течь и превратилось в бритую лунную голову бродяги. Луна брела-брела по небу долгие века и набрела наконец на Матвея. Уважила его старость. Сочинила ему напоследок глупую шутку про воскресшего сына.

Губы Матвея говорили. Задавали вопрос. Он сам не слышал, какой.

Он услышал ответ.

– Вы рано меня похоронили!

Тогда Матвей догадался, что, как он его спросил, коленопреклоненного.

Он спросил его: "Мы тебя похоронили, а ты воскрес?"

Он восстановил из мрака свою старую, подземную боль – и ужаснулся ей.

Бродяга отнял щеку от выпяченного под рубахой, огрузлого живота Матвея. Вот теперь приبلуда задрал голову, лицо закинул, чуть выпятил вперед подбородок, опять раздвинул губы в беззубой ухмылке и слезными, влажными, чуть выпуклыми глазами глядел снизу вверх на Матвея. И тут Матвей признал его: рука бродяги вскинулась, и он быстро, мгновенно, будто пытался муху поймать или комара убить, ущипнул себя за нос большим и указательным пальцем. Это был жест из его детства. Милого, смешного. Родного.

Руку нищий опять положил над другую руку, смиренно, как во время церковной службы, лежащую на груди. Правую поверх левой.

"Как на исповеди, и на коленях передо мной стоит".

Матвей тихо пробормотал:

– Ну что же ты... стоишь вот так... Ты... поднимайся...

Нищий теперь смотрел не на него.

Он смотрел поверх его головы. За его плечи.

Во мрак, что клубился за его красным плащом.

А может, это красный плед, траченный молью, свисал с плеч отца.

А сын глядел на тех, кто клубился и дымился за спиной отца, во тьме.

– Батя! За тобой... люди. Я вижу их!

Матвея будто мокрым бельевым жгутом вдоль голого тела хлестнули.

"Он видит их! Значит, они все – есть!"

– Не гляди туда, – прошептал Матвей, – не рассматривай их. Мы давай лучше... помолимся за них...

Бродяга ощерился.

Мелькнули, в фонарном тусклом свете из окна, его голые десны с редкими зубами.

– Ага, боишься! Что за них молиться? А ты что, верующим стал? Да?

Матвей не снимал рук с плеч нищего.

Нищий бесстрашно смотрел в глаза Матвею.

Его ухмылистые, гадкие губы дрогнули и сморщились. Из глаз по корявому колючему лицу, нет, это не было лицо его милого Марка, это была чужая дикая рожа, и скалилась, и язык между зубов отвратно дрожал, полились мелкие быстрые капли.

– Батя! Да ты же над Богом смеялся! У нас же дома ни одной иконы! Ты же доктор! Ты же знаешь...

Матвей стоял недвижно, его сердце, мятное и холодное, напрасно билось ему в ребра.

– Что – знаю?..

– Да что просто все! – беззубо, зло, продолжая смеяться ртом, вышамкнул бродяга. – Откинешь кони – и все! И больше нет тебя! И нет никакого твоего Бога! И ничего нет! Нет и не было!

– Нет и не было, – послушно, как волнистый больничный попугай, повторил Матвей.

Он снял руки с плеч нищего. Надо бы его поднять с пола. Хватит ему на коленях стоять. Как пахнет от него! Запах опять полез Матвею в ноздри, раздирал его изнутри. Он же голоден, черт знает сколько он шел, ничего не ел, побирался, надо быстро его накормить! И напоить. Жажда! Без пищи можно долго терпеть, без воды не продержишься и трех дней. Он просунул замерзшие от ужаса руки под мышки нищему. Стал тягать его вверх, поднимать. Тащил, а нищий упирался. Всей тяжестью повисал на его жестких, жилистых руках.

– Вставай... – бормотал Матвей. – Вставай же...

Бродяга тихо, злорадно смеялся. Смешок этот облеплял уши Матвея мелким кусачим, кровавым гнусом.

– Не встану, пока не простишь меня! Ха, ха, ха-ха-ха-ах-ха-ха...

"Простить – значит признать его! Вспомнить! Но ты же уже вспомнил. Как он себя за нос цапнул! Марк и Марк вылитый. Жест нельзя подсмотреть. С жестом можно только родиться. И... умереть..."

Матвей дышал тяжело и громко. Уличный фонарь горел у самых ребер, у гулко бьющегося сердца дедовской керосиновой лампой. Он боялся обернуться. Бродяга видит призраков за его спиной. Не хватало еще ему увидеть их!

– Я... прощаю тебя... и...

"Что-то надо тут такое еще сказать. Что?!"

– И... принимаю... и никогда...

"Что я мелю языком. Языком своим, без костей".

– Никогда... не попрекну тебя... ничем...

"Да, да, вот так, так. Верно".

– Ну... что ты из дома ушел... бросил нас...

"А вот про это не надо. Ему и так больно. Вон, слезки текут. Плачет!"

– Ты вернул... и... давай...

"Надо его успокоить. Обласкать. Ты что, ласкать разучился?! За эти годы..."

– Давай забудем все... что с тобой приключилось... всю твою...

"Жизнь, договаривай, жизнь".

– Всю твою... жизнь...

Он выдавил из себя слово "жизнь", и внезапно тяжелое смиренное тело нищего стало легче легкого, стало насмешливым и по-цирковому ловким, он засучил ногами, завозился всем телом, налег грудью на его услужливо просунутые ему под мышки старые руки, хватал ртом воздух, будто тонул, и поднимался – снизу, с пола, из ямы, в которой лежала все эти долгие годы его мысленно погребенная плоть, а душа, вот же она, лезет из глаз, губы ее выдыхают, летит беззубой плохой улыбкой, сияет лысой колючей головой, – и поднялся, и встал, и стоял, качаясь на кривых ногах, одна нога босая, другая в грязном опорке, слишком рядом с Матвеем, слишком близко, лицо в лицо, и Матвей увидел – они одного роста, нищий и старик.

Матвей теперь мог глубоко заглянуть в его глаза, ведь они стояли глаза в глаза. Они были одного роста, и зрачки Матвея нащупали зрачки бродяги и глубоко ввинтились в них, вонзились, едва не вышли наружу, два черных бура, из затылочной кости. Из этих зрачков, и чужих и родных, на Матвея хлынула тьма.

Он этой тьмы, врач, по горло навидался, он уже устал от нее, уже шел мимо нее, проходил, не задерживаясь, опытными, цепкими мыслями охватывая диагноз: обречен, не проживет и трех суток, – или так думал: если полгода протянет, пусть судьбе спасибо скажет, – у этой тьмы было обыденное имя: смерть, – и он так затвердил это имя, заучил наизусть, оно в зубах навязло, и он его выковыривал изо рта, сплевывал, как прилипшую к зубам горькую смолу, – и больные глядели ему вслед, лежачие – провожали тоскою и ненавистью, но чаще монашским, пещерным смирением, сидячие – охватывали себя руками, жадно обнимали сами себя, в последнем жару бесстыдно трясясь, тыкаясь глазами в его лицо, как щенки мордами – в теплое брюхо суки: буду жить? буду? нет, ну ты, доктор-всезнайка, скажи, буду или нет?.. – а он уже шел, бежал мимо, надо было быстрее убежать и больше об этой тьме, плещущей в больных глазах, не вспоминать. О смерти. По крайней мере, сегодня. Сегодня надо прийти домой, распахнуть холодильник и вынуть из него осетринку горячего копчения в промасленной бумажечке. И брауншвейгскую колбаску. И баночку красной икры. Настоящей, камчатской. И еще какую-нибудь вкуснятину. И положить на фарфоровую тарелочку острый нож и свежую булку. Нет: скальпель и ком ваты. Бред! Селедочку еще! Селедочки хочу! Доктор, он должен побаловать себя после ужасного рабочего дня. Две операции, одна два часа, другая три часа, тяжелые. В перерыве он курил возле открытого настежь окна. Он, старик, даже научился курить! Расслабляет. Это чтобы спирт разбавленный не пить каждый день. Не пей спиртягу, Матвеюшка, козленочком станешь.

Он сразу, бесповоротно понял: человек тяжело болен, и должен умереть.

Диагноз точный поставил, и рентгена не надо.

"Кашель. Хрипы. Одышка. И этот запах, запах, когда выдыхает".

– Что стоим? – беззвучно вылепил губами Матвей. – Давай сядем.

Бродяга пошатнулся.

"Ну да, все верно; слабость, еле на ногах стоит, он и сюда-то, видно, еле приполз".

Матвей осторожно обнял его за плечо. Гнилая ткань разлезалась под рукой, и гнилью пахло, будто оба стояли у отхожей ямы. Он тихо пошел вперед и потащил бродягу за собой. Бродяга послушно перебирал ногами. Они оба подошли к дивану. Пестренькая обивка, дешевая, тускло-голубой фон, по нему разводы ветвей и листьев, под старинный гобелен. Бродяга увидел обивку, и слезы из его маленьких глазенок с припухшими веками полились чаще, смешнее.

"Ага! Помнит. Диван-то старый! Неужели же... тот самый... когда... он сбежал..."

– Сядь ты, ляг, – плел языком кренделя Матвей, – я тебя пледом укурою...

Нищий размашисто сел, продавив диван; пружины оголтело зазвенели. Матвей насильно повалил его на подушки. Когда нищий лег, он задышал тяжелее, и хрипы в груди усилились. Он повернул на подушке голову, надсадно кашлянул, из угла его рта вывалился темный кровяной сгусток и расползся по атласу наволочки.

"Все верно, отходит легочная ткань вокруг пораженных лимфоузлов".

Матвей стянул с себя красный шерстяной плащ, он и правда оказался поеденным молью пледом, неудобно как, весь в дырах, да штопать он не умеет и никогда не умел, хотя раны вот зашивал, и разрезы, и нагноившиеся швы, и швы потом, после его шитья, заживали вторичным натяжением, и он, рассматривая и щупая шов, радостно сам себе кивал: все, Матвейка, праздник души, чистая работа!

"Здесь не будет никакой чистой работы. Здесь будет только...".

Не додумал. Этот человек при смерти. Еле добрел к нему, дотащился. Сейчас некогда трепаться, отец он ему или не отец, сомневаться, выуживать из его темной толщи золотые рыбки тайны, ахать, охать, молотить языком. Надо быстро поставить чайник. Горячий чай. С лимоном. С коньяком. С медом. Все это, слава Богу, дома есть. Пусть лежит под пледом. Как тяжело дышит! Хрипит. Согревающий компресс на область бронхов. Спиртовый. Спирта нет, есть водка. Ничего. Завтра он из больницы и спирт принесет. Хоть флакончик. Старшая сестра нальет. Флакон, это же не канистра, это незаметно.

"Я все вижу, все понимаю. Страшная болезнь. Как он сюда шел? Где жил?"

Нигде. Никогда. Никогда. Обрывал нити мыслей. Не завязывал узлов. Принес еще одеяло из спальни, толстое, овечье, на больного навалил. Подоткнул. Бродяга лежал как в коконе. Куколка, и скоро вылетит бабочка.

Измерил шагами дорогу на кухню. Зажег газ, воду налил, чайник поставил. Пустую сковороду на конфорку швырнул. Кинул на нее казенные котлеты. "Боже, сам я стряпать не могу! Пусть скажет спасибо, что эти дохлые котлеты в морозилке завалялись! Пусть... скажет..." Все шипело, пузырилось, огонь работал. Огонь сам все делал, и стараться не надо. Так, на тарелку – румяные котлетки, чуть украсить вялым укропом, картошки вареной нет, зато есть чипсы, а, это тоже картошка, вот так положить, веером, красиво. Чай в чашке дымится, плавает золотым мальком лимон. Сахару! Как можно больше. Нужна глюкоза. Коньяку! Столовую ложку? Две? Э, да тут и так мало!

Матвей вылил из бутылки в чашку с чаем весь коньяк. Звенел ложечкой, быстро, истерично. Будто в набат бил на колокольне, на площади.

Масло брызгало со сковороды. Заляпало ему рубаху. Он забыл выключить газ.

Рассерженно, рьяно засучил рукава рубахи, закатал их до локтей.

Бросил рядом с котлетой кусок хлеба. Ухватил чашку и тарелку. Потачил в гостиную.

Сел на стул у изголовья бродяги. Еду и чай растерянно держал в кукольно расставленных руках.

Бродяга спал.

Он спал, чуть приоткрыв беззубый рот, и вокруг него все стоял густой тошнотворный дух, и все так же гладко, масляно светилась, сияла во тьме комнаты бритая башка, он мирно, как ребенок, положил обе руки поверх алого, как густая кровь, старого пледа, сожранного молью, и узоры дыр бежали по шерсти, как арабские письмена, нет, как славянская вязь, буквицы первопечатной книги, чудом не сожженной в раскол Псалтыри, по ним можно было читать летопись пустоты, ведь все на свете, Матвей это хорошо знал, быстро и бесповоротно становилось пустотою, обманом. Спал, а над обитой поддельным гобеленом спинкою скрипучего дивана, под потолком, с него же свешивалась махровая слепая паутина, за деревянными суставами дверей и их живыми плечами, недвижимыми, как каменная строгая кладка, ходили, гуляли тени тех, кто их знал и любил. Милые их люди. Тела, обращенные в души. Мать этого нищего; его сестрички и братья; его бабка, что когда-то так же, как он сам, убежала из дома; его прадед, что веками стоял за гробовой конторкой, натертой морилкой, великий столпник, – а где конторка? И где люди, и где жизнь?

"Спит. Ну и хорошо. Еще в нем теплится жизнь".

Матвей поставил котлету и чай на журнальный столик близ дивана. Острый запах лимона на миг перебил запах гнили. В груди у бродяги булькало и клокотало. Он вдыхал воздух порциями: ух-ух-ух, при этом гармошка под ребрами оживала, невидимый гармонист начинал перебирать ее перламутровые, костяные пуговицы, и изнутри, из-под ребер, из кровавых, широко растянутых мехов раздавались сипы, свисты, переборы, сбивчивое влажное бормотанье, будто бежал и перекатывался на камнях грязный, бурливый ручей. А когда выдыхал, вместе с густым хрипом из легких вырывался длинный тягучий стон.

Так стонет метель. Ах да, зима. Конечно же, зима. Зима на улице. И зима внутри. Снаружи ли, внутри – о чем горевать?

Восточные, худые темно-коричневые кошки беззвучно, медленно ступая по пыльному полу тонкими мягкими лапами, вышли из-за шкафа. Их темная, ночная бархатная шерсть мерцала и лоснилась в свете фонарей, в зимнем призрачном свете. Кошки робко подошли к дивану. На диване лежал незнакомец; он по-чужому пах. Кошки застыли, вытянули шеи и осторожно, раздувая черные африканские ноздри, вдыхали новый запах. Та, что покрупнее, брезгливо трянула лапой. Та, что помельче и поизящнее, тонко и отрывисто мяукнула. Обе повернулись, подкрались к Матвею, прыгнули ему на колени и стали нюхать воздух вокруг холодной котлеты.

"Кошки, спасители мои. Если бы не вы, я бы сдох давно от тоски. Так же вот коротко крикнул: мяк! – и ноги протянул".

Матвей гладил их, гладил. Во мраке из-под его ладони сыпались искры. Кошки мягко соскочили с его колен, царственно направились куда глаза глядят. Во тьму. В пустыню.

"Все на свете есть пустыня, и нам только кажется, что мы живем среди людей".

Бродяга пошевелился под пледом и овечьим одеялом. На голом темени проступили капли пота. Он покатал башку-кегля по атласной подушке и внятно произнес:

– Жизнь, чёрта лысого.

"Сам лысый, и о лысом говорит".

Матвей сунулся вперед, вытянул руки, снова чуть не ослеп – перед словами, что выкатились из него пятью горячими слезными горошинами:

– Где ты был всю жизнь?

Лысый мужик лежал с закрытыми глазами. Матвей чувствовал: он не спит. Хитрит. Просто глаза прикрыл, а слушает. И слышит. Говорить ему лень. А может, он спит и говорит во сне. Скоро он будет от боли кричать. Это пока такая стадия, они еще не вопят от боли. А вот потом, когда прихватит, он криком тут стены разнесет.

"Как все это будет выглядеть? Он будет тут лежать? Да. Лежать. Здесь. Вот на этом самом диване. А может, лучше в больницу? Да ну ее к черту, больницу. Умирать в больнице! Как это пошло. Все стариков в больницы отвозят, умирать. А тут молодой. Какой он молодой, он же тоже старик, гляди! Нет, врешь, он тебе в сыновья годится. В сыновья? В какие сыновья? В самые настоящие. Ты что, разве не слышал, что он тебе сказал? Отец, сказал он. А, и ты поверил! Как в кино. Такие чудеса бывают только в кино. В пошлом кино. Бабенки вынимают платочки и сморкаются. Но я-то не бабенка ведь. Я врач. И я все вижу. Все? И себя – видишь?"

Себя он не видел. Ни под линзой, ни в мареве улыбки. Ни сквозь белое бешенство законной метели. Опять слепой, и, быть может, уже навсегда. Метель вилась и подвывала, и восточные кошки, лежащие рядом за шкафом в матерчатой лодке, плотно, тесно перевитые одним бархатным карим вензелем, наостряли уши – метель выла голодной злой собакой, и даже тут, среди тепла и ласки хозяйской руки, ее надлежало бояться. Не видел ни сердца своего, ни души своей. Ни Бога своего; опять мираж, фантом! Бог! Вот Он, Бог – на диване его, задравши колючую морду, сладко спит, забыв про боль, про нелепый ужас крошечной жизни своей. Да, смерть для него всяко лучше, чем грядущие муки. Муки эти уже слишком близко. Не отвертись.

"Я принесу ему завтра из больницы все, что нужно. Я сам его буду... лечить... Лечить? Или... длить ему боль его..."

Бродяга опять заворочался, открыл глаза. В глазах его плескалась злоба. Он перекатил глазные шары под веками туда, сюда, белки хищно блеснули гладкими опалами в разводах тонких красных нитей, поплыли под набрякшими веками.

– Батя. Ты не веришь мне. Ну, что это я. Поверь.

Бродяга повернул руку венозным синим ручьем вверх. Матвей уставился, дрожа. Узловатая лиловая жила виляла, текла по искореженной, взбугренной безобразными шрамами коже. То ли сам резал вены, то ли резали его в поганой, пьяной драке. "А какие там у него ребра? Спина? Может, он весь дьявольски покалечен? Ты еще не видел его тела. Боже, как он пахнет! Я буду его мыть. Всего. Всего. И тогда я... узнаю..."

Он вспоминал, с болью, с трудом, какие же у него, мальчишки, на его тощем, шелковом юном теле могли быть единственные опознавательные знаки. Родинки. Шрамы. Пятна. Порезы. Отметины Божьей длани и адского когтя. Да чего угодно! Лишь бы были! Лишь бы вспомнить!

Бродяга медленно задирает рукав, оголяя локоть, синяя жила бежала до самого локтевого сгиба, изуродованная, в синяках, рука вздрагивала под отчаянными зрачками Матвея, и зрачки наконец узрели, ухватили – среди прочих шрамов маячил один, странный, полукруг и полукруг, а оба не сходятся, не получается целого круга, и глубоко в смуглую, исколотую иглой кожу уходят заросшие белой тканью вмятины зубов.

– Отец!.. помнишь?.. да?.. помнишь?.. Меня покусала собака. И ты...

Матвей уже гладил знакомый до боли шрам вздрагивающей ладонью.

– И я... И я... велел тебе делать уколы... сорок уколов...

– Бать... а ты помнишь... как ту собаку звали?..

Из-под прикрытых век Матвея уже густой обжигающей рекой лились слезы, стекали по щеке, за воротник рубахи; капали на обнаженную, уродливую руку бродяги.

– Помню... ее звали...

Бродяга поймал воздух вонючим ртом.

– Ее звали... Верка...

– Да, точно... Верка...

Матвей протянул руки по одеялу, вытянул их, так кошки, полусонные, вытягивают лапы, наклонился вперед, глубоко дышал, уже не чувствовал запаха гнили и грязных тряпок, не слышал ужасающих хрипов, с краями наливающих костяную чашу худой груди, и медленно, счастливо положил лысую, со щеткой сивых жалких волос вокруг темени, голову на грудь прибудному, незнакомому мужику; мужик этот и вправду был его сын, и теперь никто в целом мире не смог бы его разуверить в этом, он бы просто посмеялся над тем вруном. Он, как собака, лежал головою на медленно, мерно вздымающейся больной груди бродяги, и счастливая улыбка вошла на его лицо и уже оттуда не уходила. На мокрое, все, сплошь, залитое радостными слезами лицо. Он прекратил дрожать. Он был спокоен и велик. Высок. Абсолютно чист – как медицинский спирт, как хрусталь. Голова его лежала на груди сына, а ему казалось, она парит высоко в черном ночном небе, в звездной гиблой метели. А глаза его ясные сияют. Они сияют под веками, никто не видит сиянья. И не надо. Его сердце стало плачущими глазами. И пальцы стали глазами: они ощупывают и видят. Вспоминают. И губы стали глазами: они видят шепотом и поцелуями. И зрячая грудь видит грудь. И радость видит радость. Сынок мой, я так тебя вижу всего. Всего. Но ты не волнуйся. Нельзя тебе сейчас волноваться. Ты отдыхай. Ты...

– Дыши только ровно... и спи. Спи. Тебе надо спать. Отоспаться. Потом поешь. Я разогрею. Ты мой милый, родной. Кровиночка моя. Усни. Надо поспать. Ты долго шел. Пусть тебе сон хороший приснится... светлый. Ни о чем не волнуйся. Ты дома. Ты...

Он прижался всем лицом к отошальной, костистой груди бродяги и целовал ее, покрывал поцелуями ее, грудь однородного сына своего, через все наросты лет, ветров и грязных лоскутов. Руки его, ладони и нервные пальцы, ласкали, будто бегло и порывисто целовали, плечи, запястья, потную шею, виски, уши, щетину на щеках и подбородке. Руки плакали, глаза

струились бесконечным светом, слезы текли и стекали пылающим временем, и лицо становилось плавущей свечой, соленый воск то таял, то застывал умалишенными наростами, он сам, весь, бедный человек, был нарост на времени, и зимой он превращался в заметный снегом могильный холм, и холм оживал и шел на работу, в больницу, и холм напяливал на себя белый метельный халат, да, врач, ты будешь спасать сына своего, вот он к тебе пришел: он воскрес из мертвых, он пропал и появился. Он пришел к тебе потому, что любит тебя. Он сам вспомнил, что любит тебя. Не ты его нашел, он нашелся сам. Он нашелся не потому, что ты его искал. Он нашелся оттого, что он нашел тебя.

Тебя.

Мерно, медно пробили настенные старинные часы в спальне. Барометр с деревянной головой изюбря показывал на "БУРЮ". Матвей вытер мокрое лицо о лохмотья бродяги.

– Сыночек...

Нищий опять спал. В груди у него тихо хлопотало. Он закатил глаза под веки, и сивые ресницы дрожали. Мокрое его лицо блестело в совместном свете круглой синей луны и тускло-желтого, рыбьего фонаря за столетним, кривым окном.

Он мыл сына в ванне. Еле дотащил его до ванны, еле-еле перевалил и усадил; пустил воду, долго возил рычагами газовой колонки, бегал и трогал тугую струю – горячая ли, нет, – а сын сидел в это время, сгорбившись, и надсадно кашлял, из его рта опять вылетали кровавые темные сгустки, и Матвей душем смывал их с подбородка сына и с груди. Сын молчал, а Матвей тер его мочалкой. Мыльная пена пузырилась и самоцветно блестела. Матвей с ужасом рассматривал тело сына. Шрам на шраме. Будто его беспощадно бичевали. Изощренно пытали, резали. Плющили молотками кости. Худые ноги его лежали на дне ванны, словно вывернутые из земли, тощие, без соков, корни мертвой сосны. Под плоскими щитами лопаток выпирали из-под кожи ребра. По телесам его сына можно было в школе изучать анатомию. В легких хрипело, он опять харкал кровью. Матвей смывал мыло с его страшной спины и старался не плакать. Он узнавал под лопаткой родинку. Узнавал сломанный в детстве, с качелей упал, глядящий набок большой палец ноги. Кость неправильно срослась. Не он делал ребенку операцию. Его ученик.

Он теперь все узнавал, и он стыдился себя.

Метастазы, думал он, четвертая стадия, уже метастазы. Тошнит, и за живот держится. Позвоночник уже поражен, ведь он еле ходит. А мозг? Мозг, может, нет еще; но скоро, скоро.

Он вымыл сына дочиста, до скрипа, и опять, как раненого на войне, взвалил его себе на плечи и поволок в гостиную. Диван, обитый фальшивым гобеленом, вот ты и пригодился. Он заботливо уложил его на высокие подушки, чтобы сердцу было легче работать, и дышать было легче. Щеткой-лентяжкой натер полы. Открыл все форточки. Ветер гулял по квартире. Он одел сына во все чистое, лежачего, его аккуратно побрил, сел рядом с ним и умиленно глядел на его гладкое худое лицо и бессильные уродливые руки, спокойно лежащие поверх одеяла.

Он спросил сына, как же он попал домой. Сын хрипло выдавил: так дверь же была открыта, я нажал на нее, она подалась. Сказал, попытался усмехнуться, не смог и закашлялся. Матвей положил на журнальный столик стопку салфеток. Вытер салфеткой сыну губы. Все оказалось до обидного просто. Он забыл закрыть на ночь дверь, вот в чем разгадка. Плохой признак. Цветущий атеросклероз. И будет прогрессировать. Никуда не денешься.

Ты полежи тут один, без меня, поспи, отдохни, бодро сказал он сыну, я сейчас в больницу, потом в магазин, потом быстро домой. "А ты что, до сих пор работаешь?" – клопоча легкими, спросил сын. Матвей так же бодро ответил: да, работаю! оперирую мало, больше консультирую! молодым врачам помогаю! "Ученики, вот оно как", – выхрипнул сын то ли почтительно,

то ли презрительно. Замолк, громко дышал. Матвей натягивал перед зеркалом шерстяную безрукавку, пялил пиджак. Я сейчас, сейчас! Я скоро!

Он и правда скоро вернулся. Больница промелькнула перед его глазами давним стеклянным, хлорным сном. У него дома теперь жило и страдало настоящее, а больница смеялась над ним одним многоглавым призраком, белым стерильным осьминогом. Он не помнил, что и как объяснял главному врачу. Видел чьи-то глаза, в них плескалось холодное сочувствие. Чьи-то руки тащили капельницу, совали ему картонную коробку, он открыл крышку, в коробке лежали лекарства: ампулы для внутривенных вливаний, таблетки, порошки. Он поклонился, как на сцене. Так кланяется нищий дающей руке, богатой.

Шел домой: в одной руке капельница, в другой сумка – со снадобьями, мясом и овощами. Больной теряет силы, ему нужно много мяса! Яйца, помидоры, огурцы! Что, если сварить ему густые, с чесноком, щи из синей капусты? А может, борщ? Матвей борщ никогда не варил. Он все эти годы, живя один, питался плохо и жестоко: варил себе картошку, отваривал пошлые сосиски, жевал репчатый лук, откусывая прямо от луковицы, чтобы не выпали зубы. Пил чай, пил кофе, заглывал, как удав, пирожные. Не кулинар, не повар, просто одинокий мужик, и зачем ему нянчиться с самим собой?

Но тут была иная картина. Он поставил капельницу рядом с диваном, подмигнул сыну. Сын глядел непонимающе, опять кашлял. Уже сам хватал салфетки со столика и вытирал рот. С кухни доносилось лживое бодрое пение отца. Отец впервые в жизни готовил обед из трех блюд. Щи убежали, воняло подгорелой капустой, курица пережарилась, масло на сковороде воспламенилось, и язык пламени весело достиг закопченного потолка. Матвей совал сковороду под кран. Тихо матерился. Горелая курица раздвигала беспомощные черные ножки. Из ложки в тарелку щей лилась сметана, закрашивая белой зимой летний обман. Он не встанет, шептал себе Матвей, он же не встанет, я буду кормить его с ложечки. Матвей поставил щи на столик и кормил сына из ложки. Сын послушно разевал рот. По его голому лбу змеились сухие русла морщин. Лоб страдал, а рот покорно ел. Разделение труда. Руки Матвея сновали от тарелки ко рту сына и обратно.

Он кормил его, как кормят младенца.

Потом он отнес грязную тарелку на кухню, тщательно вымыл руки, открыл коробку с лекарствами, подготовил капельницу. Сын глядел круглыми, совиными глазами. Молчал. Отец положил его тощую узловатую руку на подушечку-думку, щупал пальцами сгиб руки, искал вену. Нашел. Первый раз плохо проколел; иглой искал вену внутри, сын морщился от боли. Отец вынул иглу и повторил попытку. Попал. Открутил колесико системы. Раствор капал размеренно, медленно. Лежи спокойно, рукой не шевели. Я и не шевелю. Это хорошее лекарство? Очень хорошее. Дорогое? Я взял его в больнице. Бесплатно? Это неважно. Я жизнью всей, может, за это лекарство заплатил.

Раствор медленно капал, проникал в еще живую кровь и навек уходил в красные подземные реки. Далеко над крышей, в небесах, гас день и зажигалась новая ночь. На столике близ изголовья лежали одноразовые шприцы, ампулы, капсулы, скатывались на пол круглые бусины драгоценных таблеток.

Сын то спал, то просыпался среди ночи, кряхтел и клекотал, кашлял, выкашливая из сгнивших внутренностей все, что мешало ему жить: неведомые любви и неведомые предательства, неизвестные ужасы, непонятные клятвы и давно утертые слезы, проклятые чужие, наглые приказы и благословенные прощенья и прощанья. С кашлем наружу выходило все, что составляло обманчивый смысл его жизни; точнее, выходил он сам, а кто заступал его место, он этого не знал. И не хотел знать.

Кошки в ночи жалобно мяукали и царапали черными когтями фальшивый гобелен.

Отец швырял использованные шприцы в мусорную корзину. Перекатывал сына на бок, вытаскивал из-под него грязную простыню, совал ему под спину чистую. Сынок, как же ты ко

мне дошел? Бать, я помнил адрес. Я же не дурак и не козел. Сынок, а почему же ты за все эти годы ни разу не позвонил? не написал? где ты, как ты... Бать, только вот этого не надо. Не терзай меня, а? Значит, не до того было. Все эти годы, сынок, не до того?

Сын повертывал голову на подушке. Глаза его потухали. Вспухшие веки налезали на белки. Он слепо косил из-под век, и Матвей будто смотрелся в зеркало: когда он так косил, он становился слишком похожим на отца. Отец узнавал в сыне детские черты, но узнавал и неузнаваемое, а порой узнавал и себя, и даже деда, полжизни простоявшего за гробовой конторкой. Сын замолкал. Не желал говорить.

И Матвей больше не задавал глупых вопросов.

Соседи

Старуха Шапокляк

Она была еще совсем не старуха. Но она всерьез собралась умирать.

Вот лавка, она попросила дворника, Пашу Ляпунова, нищего поэта, принести ей с помойки отличную, крепкую лавку, кто-то выкинул, грех не подобрать, такая чудная лавка, настоящая деревенская; она видала такие в деревнях, когда давно, еще девчонкой, ее возили по деревням отец и мать. Отец и мать! Неужели они у нее были? Нищий поэт, а нынче дворник, легко подхватил тяжелую лавку под мышку и принес в квартиру Любани. Великолепная лавка, самое то, на такой только и умирать.

Да, именно так, надо лечь на лавку и прикрыться полушубком. Полушубок у нее есть, овчинный. Ей подарил сосед, доктор. С докторского плеча шубенка-то. Да нет, не он носил: жена его покойная. Все надо делать по правилам. Жизнь, она вообще расписана по минутам. По секундам. И всякое время в ней стоит в надлежащей графе. Не дай Бог выбиться из реестра! Вот тогда ты совершишь грех. И будешь гореть в геенне огненной.

Она забыла, сколько ей на самом деле лет; чтобы стать моложе и завлечь мужчину, она меняла паспорт, за большие деньги скостила себе десять лет, она всегда выглядела моложе своего возраста, потому что была очень худа, чересчур худа, такими костлявыми были только анорексички, ну и что, мировые знаменитости тоже анорексией болеют, вон Анджелина Джоли, исхудала как щепка, и ничего, поклонникам еще как нравится. А Любаня? Идеальная фигура это вешалка, сказал один жестокий модельер. Никакой мужчина не завлекся в тощие сети, ну и ладно, все к лучшему. Одной жить удобнее; одной – вольнее. Нет, не старуха она еще! А душа? Почему же душа так яростно запросила смерти?

Душа – уверовала.

Совсем недавно душа поверила в Бога.

Душа сказала ей назидательно: гляди, Любаня, на земле все твое давно исполнено, что тебе еще тут делать? Работы у тебя нет. Еды у тебя нет. Твой рацион – чашка чая на ночь, и то без сахара. Искать работу трудно, а такие, как ты, работу просто не находят. Пока работу ищешь, ноги протянешь! Так не лучше ли лечь на лавку, накрыться полушубком, взять в руки железный крест, положить на грудь маленькую иконочку св. блаженной Ксении Петербургской, читать ей, блаженной Ксении, акафист, закрыть глаза и тихо умирать.

Любаня, живой скелет, музыке учила детей. Всю жизнь учила детей музыке. Дети попадались разные. Кто двигал по клавишам пальчиками хорошо, умело. Бойко! Любаня гладила дитя по плечу, по ловкой ручке и шептала: сам Бетховен был бы доволен. К Элизе, дружок, к Элизе, еще разочек! Дитя послушно играло еще раз. Любаня хлопала в ладоши.

Но попадались и бестолковые детки. Они глупо тарасились в ноты и гундосили: "Любовь Баскаковна, я не выучила урок. Любовь Баскаковна, а почему у вас такое страшное отчество?"

Любаня брала ноты с пюпитра и шлепала нотами дитя по рукам. Дитя отдергивало руки и сморщивало нос. Оно готовилось заплакать, но не плакало.

Любаня смаргивала слезу. Она плакала сама. Она неслышно, одними губами, просила у дитяти прощения. Обиженное музыкальное дитя не слышало ее. Вставало, сердито вылезало из-за черного, как царский паровоз, пианино, складывало ноты в черную кожаную музыкальную папку на тесемочках и шло к выходу. Влезало в сапожки, в пальтишко, завязывало у горла тесемки шапки. Дитя шагало в темную снежную ночь, и Любаня смотрела на то, как дитя идет домой по снегу, в окно со своего пятого этажа.

Так Любаня зарабатывала себе на жизнь.

Это был не всегдашний заработок. Все меньше детишек хотели учиться музыке. Времена ломались, как сухое плохое печенье из хрустальной вазы в старом буфете. Любаня подходила к зеркалу. Оттуда на нее глядели: длинный нос крючком, длинная, до бровей, седая челка, впалые щеки, тонкие, как мертвые черви, бледные губы. Вместо тела скелет. Вместо музыкальных утонченных рук грабли. А вместо жизни? Что у нее вместо жизни?

Вместо жизни теперь у нее вдали маячила смерть, а поскольку Любаня свято и светло уверовала в Бога, смерть виделась ей неведомым, блаженным чудом света.

Любаня, когда еще не была так худа и слаба, посещала бесплатные концерты. Она в любую погоду, в дождь, сутемь и слякоть, напялив резиновые, до колен, рыболовецкие сапоги покойного отца, шла через весь город в зал филармонии. Перед ней качались белые сахарные колонны и настезь распахивались тяжелые дубовые двери с золотыми ручками в виде львиных голов. Любаня вцеплялась костлявой рукой в львиную голову и тащила дверь на себя. Вытаскивала ее из воды времени, как лодку на песок. Входила. Людей тут было слишком много. Любаня боялась людей, не могла идти в их горячей каше из рук, голов и ног, и говорить с ними не могла. Стеснялась. Она стеснялась всего: своей худобы, своих рук, живых граблей. Своей неподстриженной серебряной челки. Челка прикрывала ей глаза, как шоры – глаза лошади. Она поднималась по мраморной лестнице в краснобархатный зал с алмазными мощными люстрами, огромными, как горящие корабли, и скромно садилась на самый последний ряд. И глядела затравленно.

Когда начиналась музыка, она судорожно сцепляла руки на коленях.

Будто тонула, и держалась за бревно, за ветку, за соломину; надо было спастись и рассказать об этой музыке всем живым.

Музыка поднималась из тьмы земли. Земля распахивалась, разрытая жестокими лопатами, музыку освобождали, и музыка вздымалась. Она разворачивалась в сыром, промозглом ночном городе, внутри каменной коробки, как знамя; сначала тлела сырою спичкой, потом вздувалась на ветру, как пламя. Она хватала Любаню огненными пальцами и начинала ее лепить. Музыка лепила Любаню из ничего. Из пустоты. Эта мучительная лепка неизвестно чем могла окончиться. Может быть, Любаня на последних аккордах возьмет и упадет из краснобархатного кресла на пол. И вызывай не вызывай "скорую помощь", помочь тут уже будет некому. Она превратится в музыку, а люди будут думать: в труп.

Музыка мучила и выкручивала, вынимала из нее все косточки, как из вареной курицы, а потом вдруг опахивала благостью и волей, и Любаня поднималась над креслом, над оцепенелым залом и летела, вытягиваясь горизонтально, как длинное невесомое облако, похожее на ангела с крыльями. Ангел трубил в трубу. Крылья слабо трепыхались, как у нежного птенца. Скрипки пели о счастье, а литавры били горе, и барабаны тоже. Дубовая шкура туго натянутого горя вздрагивала и гудела. Любаня напряженно ждала, когда зазвучит арфа. Арфа вызывала на ее печальном лице ясную улыбку. Арфа лечила все болезни, смахивала, как тряпкой пыль, все невзгоды. Кто выдумал на земле арфу? Ох, крепко расцеловала бы того человека Любаня!

Вечность лепетала и пела, а потом вопил дикий хор – об ужасе, о последнем дне; люди орали о невозвратном, оплакивали убитых, молились звездам. Из музыки сплеталось все, что

дышало на земле и летало над нею. Дирижер останавливал музыку рукой, ронял на грудь потное сумасшедшее лицо, опускал палочку, спрыгивал с постамента и кланялся. Хор стоял строго и слитно, как одно существо с сотней голов. Оркестранты били смычками по струнам. Оркестр, деревянный дракон, распахивал пасть, и внутри пламенной пасти Любани, открыв наконец залитые слезами глаза, видела волшебную арфу.

Она хлопала арфе, только арфе, хотя надо было хлопать сразу всей музыке. Но арфу ей было жаль, жальче всего. Как она остается в темном зале ночью, одна? Кто ее кормит, поит, закрывает теплой попоной? Все другие инструменты складывают в футляры. Лишь арфа бессонно стоит на страже. Стережет мир от войны.

Любани выбросила свой телефон: он звонил слишком громко и рвал ей барабанные перепонки. Он своим грубым звоном унижал великую музыку. Оставшись одна, Любани села за старенькое, как штопаный валенок, пианино и весь вечер играла трехголосные инвенции Иоганна Себастьяна Баха.

Родители музыкальных детей приходили к ней и жаловались: мы до вас не можем дозвониться! Любани разводила руками. "А вы без звонка, без звонка. Я все время дома".

Она врала родителям и детям. Она не все время бывала дома. Утром она уходила в церковь на литургию, а вечером – на всюнощное бдение или просто на часы, монотонно читаемые: стоять во храме и слушать.

Ее крестила заезжая артистка. Артистка купалась в славе, Любани пришла на ее концерт в филармонию и с последнего ряда подслеповато глядела, как люди купаются в славе. Артистка вышла к микрофону в длинном черном платье, у нее была такая же густая челка, как у Любани, только не серебряная, а черная. И сзади, по спине, коса. На груди у нее, на широком толстом ремне, висела красивая большая гитара. Блестки на платье вспыхивали детскими снежинками. Артистка сначала читала в микрофон печальные стихи, и в зале плакали. Потом она ударила по гитарным струнам и запела. Зал встрепенулся. Пела артистка тихо, и голоса у нее не было никакого. Так, хрипела, в застолье пьяные бабы лучше поют. Однако этот тихий хрип пробирался в сердце и поселялся там. Никуда не уходил. Плакали пуще. Мелькали носовые платки и салфетки. На артистку наставляли бинокли. Ей кричали "браво", хлопали и топали от восторга ногами. Любани протолкалась за кулисы, сквозь тучи народу с букетами роз и тюльпанов. Она, не помня себя, выкатилась прямо под ноги высокой артистке в черном платье – рядом с рослой крупной женщиной тощая Любани выглядела как лилипутка из цирка. Артистка наклонилась к ней, как к ребенку. Любани развела руками смущенно. Вы кто такая? А это что, допрос? я тоже музыкант! Вы поете? Нет, играю на фортепьяно! Артистка засмеялась хорошо, необидно. Взяла Любани за руку. Ну так давайте подыграйте мне! А я спою!

Артистка встала к старенькому пианино, стоявшему возле зеркал в гримерке, со столов и тумбочек на пол падали живые цветы, голос зазвучал, забился, Любани заиграла. Вдвоем с артисткой они дали еще один концерт: за кулисами. Людей в гримерку набилось – не продохнуть. Обмахивались сложенными газетами. Затаили дыхание. Две музыкантши музыкой говорили людям о самом тайном. О жизни и смерти. И немножко о бессмертии. Ведь всем хотелось хоть немножко бессмертия, всем.

Окончив петь, артистка замахала руками на публику и всех быстро выгнала. Они остались в гримерке одни. Две женщины, одного возраста. Любани глядела, как из углов глаз артистки бегут морщины к вискам. Артистка широко перекрестилась. В черном платье, отраженная высокими зеркалами, она почудилась Любани боярыней Морозовой. Вас как звать-то? Любовь. Любовь, а вы крещеная? Что вы на меня так подозрительно смотрите? Что, перекреститься после концерта нельзя? Почему это, можно! Я – Бога благодарю! За все! Ну и благодарите на здоровье!

Артистка пошарила в сумочке, вынула икону, поставила ее на попик пианино и встала перед пианино на колени. Стала креститься и громко, в голос, молиться. Будто плакала и при-

читала, как баба крестьянская. Любаня глядела и слушала. Отмолившись, женщина встала, отряхнула от пыли черное, с блестками, концертное платье и строго сказала Любане: я завтра улетаю, у меня есть время, я вас окрещу. У вас тут хороший храм Вознесения. Там отец Виктор прекрасный. Он очень добрый. Чтобы в восемь утра быть возле храма! Поняли?

Любаня кивала, не в силах слова произнести.

Без пятнадцати восемь она стояла возле церкви Вознесения. Белая колокольня великанской снежной бабой уходила в небесный туман. Артистка появилась из тумана, шла быстро, будто она была нож, и ее бросила в снег и мглу сильная рука. Обе они вошли в храм. Отец Виктор оказался и правда добрый, его не надо было бояться. Он окунал Любанину голову в большой цинковый котел и бормотал над ней святые слова. С головы и волос Любани стекала вода, она ловила ее языком. Босиком стояла на полосатом половике. Ее растерли полотенцем, мазали ей душистым маслом руки, щеки, лоб. Подносили к губам вино в столовой ложке. Она дрожала, ей холодно было. Глотнула сладкий кагор, и в голове тихо зашумело. Потом появилась музыка; это запел священник. Он пел о древнем, незабвенном. По мокрому лицу Любани текли слезы. Она улыбалась. Артистка стояла рядом и улыбалась тоже. Подала священнику крестик на белом витом гайтане. Отец Виктор осторожно нацепил крестик на шею Любане и опять бормотал, пел, крестил и крестился. Потом настало молчание.

Артистка подошла к Любане, взяла ее за плечи и трижды поцеловала. Любаня стояла как мертвая. Она смущалась своего нового положения. Прислушивалась к себе: что изменилось во мне? Такая я, как раньше, или уже другая?

Артистка пригласила ее к себе в гостиницу. Покидала вещи в чемодан. Вынула из шкафа бутылку вина, колбасу, нарезанный батон. Сейчас не пост, вкушать мясо можно! Изопьем вина и вкусим, что Бог нам послал! На одной тарелке уместились колбаса, хлеб и остатки корейской моркови. Пили из одного стакана. Захмелели, смеялись. Артистка сыпала анекдотами. Потом поглядела на гитару: гитара валялась на кровати, как покинутая возлюбленная. Вот гитара уже в руках, и рокочут струны, и летит и вьется вокруг головы и плеч Любани красивый хриплый голос, он поет вроде бы о людях и их страстях, но это только кажется; теперь Любаня знала, о чем голос поет: о Боге.

Бог был во всем, и в этом свежем хлебе, и в темно-красном вине в гостиничном стакане, и в морозных узорах на стекле, и в гудках машин и звоне трамваев, но превыше всего Он был в музыке, и теперь-то Любаня знала, Кому она всю свою тощую, чахлаю жизнь посвятила.

Они все выпили и съели, и артистка встала со стула, стояла нетвердо, шатаясь, и снова, как в церкви, троекратно расцеловала Любаню, и Любаня вздрогнула от влажного жара плывущих вдаль, певчих губ.

Она поехала в аэропорт провожать артистку. Самолетный гул застилал уши. Черное платье артистки торчало из-под заячьей короткой шубки: ей лень было переодеться. Любаня следила, как артистка, метя пол черным подолом, выходит из стеклянного куба аэропорта на летное поле. Еще немного она могла видеть ее. Потом метель и гул закрыли все. Зазвучала музыка одиночества.

Любаня прикатила из аэропорта домой. Играть на пианино она не могла. Сил не было. Легла на кровать вниз животом и так лежала. Сколько так пролежала, не помнила. В дверь звонили, стучали. Потом опять дверь молчала. Потом Любаня уснула, и ей приснилось, будто дверь сорвалась с петель, подлетела к ней и придавила ее сверху, как деревянной крышкой.

Она проснулась в поту и сообразила: это же я в гробу лежу, это крышка гроба, и я уже в земле. Ей необходимо было узнать как можно больше о смерти. Она о ней не знала ничего. И никогда о ней не думала. Ведь музыка была такой щедрой, сильной жизнью.

Она стала ходить в церковь. Не в одну. В разные храмы. В одном обедня, в другом вечерня. Ходила к ранней заутрене в Благовещенский монастырь, затемно, среди ночи. Ноги шли, похрустывали по свежему снежку. Одинокие ее следы тянулись узором из жизни времен-

ной в вечную жизнь. Так она твердила себе: я теперь верую в Бога, а Бог живет вечно, значит, я тоже вечно живу; и сама себе казалась вечнозеленой елкой с торчащими колючими ветками, и улыбалась.

Она научилась не стесняться, когда исповедуешься. Когда зажигаешь и ставишь к образам длинные золотые свечи. Ей хотелось лизнуть свечку, как леденец; воск казался ей сладким, пчелиным. Полюбила крестный ход вокруг храма и ждала Пасхи, когда совершали его, и Страстной Пятницы, в Страстной Пяток тоже шли медленным скорбным кругом по весенней распутице, охраняя ладонью от ветра робкое, смертное пламя свечи. Она приучилась молиться по маленькой книжечке-молитвослову, повесила икону под потолком, в углу, опускалась на острые колени и быстро, мелко крестилась, будто солила себя, пресную. Из-под потолка, во тьме подсвеченная снизу красной ягодой лампы, скорбно глядела на Любаню красивая Владимирская Божья Матерь.

Артистка сначала писала ей на главпочтамт, до востребования. Любаня дрожала сердцем, когда разворачивала письма. Мелкий почерк артистки перцем сыпался, обжигал. Потом письма приходят перестали. Любаня сказала себе: все, кончилась любовь.

Любовь приходит и уходит, а музыка остается.

Музыка, спаси меня, шептала она музыке, но музыка не слышала ее. Музыка слышала только сама себя. В дверь настойчиво стучали, и даже ногами. Она открывала дверь. Впускала людей, больших и маленьких. Люди ей что-то важное говорили. Нажимали на клавиши ее пианино. Пили чай из ее чашки. Выходили вон из ее двери.

Настал день, когда она перестала открывать людям дверь.

Какое чудо было остаться наедине с Богом! Теперь, на свободе, она по-настоящему, свободно и всласть, молилась Ему. Он слышал ее, и больше ничего не надо было: ни людей, ни снежного воздуха, ни еды, ни музыки. Еду покупать уже не на что было. Денег ей никто не приносил. Одежда истрепалась. Ребра выпирали сквозь тонкую рубашку. Когда закончились церковные свечи темного воска, она кухонным топориком отрубила от подоконника плашку, наколола щепы и жгла перед иконой лучину.

Масло в лампаде кончилось давно. А оно так хорошо пахло.

Жизнь прогорела, как эта лучина у иконы. Не нужно было уже ничего. Ни похвал, ни ругани, ни вражды, ни наград, и даже музыки уже было не надо. Все изжило себя, выжалось до капли. А тряпку все выжимали и выжимали; и надо было вырвать ее из чужих рук, уже давно отжатую, сухую, и бросить под ноги. Тем, кто придет ее хоронить.

Она все продумала. Лавку дворник Ляпунов приволок. Надо попросить его принести свечу; любую, елочную, хозяйственную, все равно; с лучиной отходить негоже, неприлично. Дворник думает, она сумасшедшая. И этот думает, лысый докторишка из квартиры напротив! Так на нее смотрит подозрительно, когда она в мешке мусор выносит! Сам-то он, доктор, немного не в себе. Говорят, когда-то был отличным хирургом. Да старость, зренье не то, рука не та. Хирургия, тонкая наука, тоньше музыки, вдруг что не так отрежешь больному, потом ходит несчастный всю жизнь у гибели на краю. Может, у него свечу попросить? Да откуда у него. У всех люстры, торшеры, бра. Зачем теперь людям свечи.

Она доктору про свечку заикнулась, а он юркнул к себе и быстро вынес ей овчинный старый полушубок. Нате, Любовь Баскаковна, носите! Не побрезгуйте! Это моей покойной жены полушубок. Он совсем новенький. Почти неношенный. Вам тепло будет. А то вы, извиняюсь, мусор вон голая выносите. Нет, конечно, вы не голая, вы в халате, извините меня еще раз, не то сказал. А свечки у меня нет. Нет и нет. Но я могу вам купить. Когда к вам удобней прийти, чтобы вас не потревожить? Вы же ведь музыкой занимаетесь. Боюсь вас от музыки оторвать.

Любаня мрачно нацепила овчину на плечи. Сказала себе: больше никому не открою.

А хитрого глазка, чтобы подсмотреть, кто к ней в дверь стучит, у нее в двери просверлено не было.

Часами сидела на лавке. Привыкала к ней. Потом ложилась: примеряла лавку на себя. Как это умирают схимники? Да, с крестом в руках и иконой на груди. Так и она поступит. Еще не сегодня. Завтра.

Пришло завтра, и в дверь заколотили. Вот-вот выбьют. Пришлось открыть. Стояла, глядела: на пороге непонятная девочка с восточным узким личиком, чернявая и смуглая, личико будто закаленный в печке пирожок, вся потная, устала в дверь бабахать, в одной руке сверток, в другой пакет. Мама послала вас покормить! Меня? покормить? что я, животное? а ты кто такая? Я ваша ученица. Вы что, забыли?

Девочка потопталась, делать нечего, невежливо отодвинула Любаню узеньким плечом и втекла в квартиру, и оглядела кучи мусора в мешках по углам, и хлебные корки на столе, и обгорелую лучину возле Богородицы. Из пакета вынула кастрюлю. Раскутала сверток, как младенца. Садитесь, Любовь Баскаковна, поешьте! Я не хочу. Ну пожалуйста, ведь вы хотите! Вы же голодная! Я не голодная. Да вы просто скелет! И восстанут из гробов скелеты, и оденутся плотью. Что вы бормочете! Ну-ка давайте, быстренько!

Девочка, как взрослая, взяла Любаню под локоть и, как дитя, повела к столу, и усадила, и кормила с ложки. Любаня покорно глотала. Все напрасно, молча твердила она себе, эта жизнь на день, на два, а дальше все равно будет смерть. Так не лучше ли сразу, быстрее? Не ждать, не длить часы и дни? С восточной девочки пот лил градом. Она устала кормить учительницу музыки. Любаня слишком медленно глотала. А жевала еще медленнее. В другой раз я попрошу маму, она приготовит вам суп-пюре! Другого раза не будет, детка.

Девочка приходила ее пару раз, и все так же, кулаками и каблуками, дико стучала в Любанину дверь. Любаня открывала. И так же покорно, равнодушно ела из рук у чернявой девочки. А потом перестала открывать. Лежала и слушала оглушительный стук. И эти детские, пронзительные крики: откройте! откройте! И голос лысого доктора из квартиры напротив: а может, ее нет дома! может, ушла! И дворника тяжелый, чугунный бас: да я все время во дворе, никуда она не выходила, болезная, так там, за дверьми, и валяется! И, может быть, на полу! Силенок в ней никаких! Она же стала уже как кузнецик!

Голоса стихли. Разошлись люди. Любаня поняла: надо спешить. А как ускорить процесс? Как ускорить музыку? Проще некуда: просто быстрее играть. Живей пальцами по клавишам двигать. И темп убыстрится. Из адажио, из анданте станет престо, преттиссимо.

Как ускорить темп? Ну, как?

Она взяла в одну руку стальной крест, купила его в церкви за гроши, ей сняли его с витрины, из-под стекла, с подушечки черного бархата, в другую руку маленький образок, поглядела, чей: ага, святителя Николая, ну же, чудотворец Николай, сотвори сегодня чудо, проводи Любовь к Господу. Не хочет Любаня больше есть чужой еды, вдыхать воздух земной не хочет. Слабыми членами своими шевелить не хочет. Что надо сделать перед смертью? Прощенья попросить у всех, кого она в жизни обидела. Сегодня не Прощеное воскресенье! Но это все равно.

Она, с крестом и образком в руках, встала перед смертной лавкой на колени. Богородица глядела ей в спину. Пустая, без масла, лампадная чашка красного стекла раскачивалась на сквозняке. Люди, милые! Простите меня за все, что я вам сделала. И хорошего, и плохого. Простите меня за то, что я наставляла вас, как жить, учила вас! Кого оскорбила и унизила, простите! Меня тоже обижали и унижали, значит, за дело! А вы, вы меня простите, что не протягивала вам руку, когда надо было протянуть! Не кормила вас с ложечки, беспомощных, когда надо было покормить, вот как вчера кормили вы меня! Простите, что смеялась над вами, когда надо было вас пожалеть! Что принародно отчитывала вас и стыдила вас! И что, самое страшное, вот за это особо простите меня, грешную, что ненавидела вас! Это я-то, я, Любовь! Мне такое имя дадено было, что я всех, всех должна была любить! А я – ненавидела! Простите, что гонялась за вами и ловила вас, как зверей, чтобы у себя в доме навек поселить, а вы, вы

ведь – люди! Никого не изловишь насильно! Не притянешь к себе на грудь и не обнимешь, если он того не хочет! Простите, что пыталась пригрудить вас насильно, насильно прибиться, прислониться к вам! Все вы свободны! Простите, что хотела заполучить вас в свою тюрьму! А еще простите меня, грешницу великую, за то, что полжизни прожила и в Господа не верила! А вот он, Господь! Он смотрит на меня! На малую, беспомощную и грешную дочь Свою!

А еще, еще, люди мои дорогие, простите мне, что я – обманывала вас! Что выдумывала для вас то, чего не было и нет! Что врала вам в лицо! Что думала: совру – недорого возьму!

А еще... еще... простите мне... что я – у вас – воровала...

Все воровала! И яблоки из сумки! И ноты из библиотеки! И бутерброд чужой в бедной столовой! И деньги, да, однажды я деньги стащила, иду по рынку, а на прилавке кошелек лежит, так я тот кошелек схватила и побежала! Да, девчонка была, несмышленная, глупая! Ветер! Я была просто ветер! Мне так понравился тот кошелечек! Такой красивый! Бисером вышитый! Я не могла удержаться. Он и с виду красивый, и внутри, думаю, там денежек много! Отбежала подальше, щелкнула застежкой – да! точно! куча денег! тьма-тьмушая! Ну, думаю, разживусь сейчас, вот погуляю! Всего себе накуплю, потешусь! Не тут-то было. Зашла в магазинчик, около рынка, там бижутерию продавали, гребешочки, бусы, колечки-браслетки и всякую такую всячину, вынимаю я краденый кошелек, а продавец так остро глядит, зрачками так и колет, и вдруг мне режет: а кошелечек-то краденый, сейчас, мол, у нас дамочка одна была, кольцо покупала, так у нее точно такое сердечко на кошельке вышито! Таким же красным бисером! Держи ее, кричит, хватай воровку! Я как понеслась из магазина вон! Бегу, только пятки сверкают! Задыхаюсь! Пот ручьями льет! А за мной дядьки дюжие бегут. Если бы поймали – так бы отделали! Страшно представить. Но они-то правы, дядьки! За воровство – бьют! И так бьют, нещадно, от души! Размахнутся – и влепят! По первое число!

А я... а я...

Простите воровку! Безвредная я была воришка. Я – без зла воровала. Без злого умысла! Просто такая уж я была молодая дура! По детству, по молодости чего только не наделаешь в жизни! Ветер ведь в голове! Не думаешь о том, что возмездие ждет. Наказанье! И не людское совсем: Божье! А когда я на себя чужую комбинашку в пионерском лагере примеряла, я разве о Божьем наказанье думала? Да ни в жизнь! Затолкала комбинашку в подушку, под наволочку, и наволочку на все пуговицы застегнула. Украла! Благополучно! Не нашли! А девчонка, соседка моя по отряду, так плакала! Эту комбинашку ей мама на день рождения подарила. А я на ней всю смену проспала, ее украдкой домой привезла и уж так на нее любовалась. Я вообще была падкая на красоту! Меня музыке отдали учиться, так я в музыкальную школу ходила и все на брошки на кофтах учительниц заглядывалась. Волшебные брошки! Моя бы воля – все бы слямзила!

Мать меня спросила строго: откуда это белье? Я ей отвечаю: да так, подружка подарила! В лагере! А сама покраснела, голову опускаю. Мать хмыкнула, ничего больше не сказала.

Может, грех мой она знала, ну, что я на руку нечиста. Так что ж тогда, давно, в детстве моем, меня за руку не схватила? Не высекла? Ремнем меня отодрать, чтобы неповадно было! Никто не наказал, Господи... никто...

У меня память хорошая... отличная даже... я так запоминала все эти брошки блескучие, все кружевные кофты эти, рюши и воланы... запросто могла – точно такую брошку смастерить... точно такую кофтенку сшить... Я все запоминала! Всю музыку, что я играла! Что мне играли! И ту, что слышала в концертах! И ту, что по радио звучала! Все могла сыграть сама, повторить. Нота в ноту!

В музыкальном училище ходила в класс композиции. Решила сама музыку писать! Господи! Прости меня! Как я ее писала, лишь один Ты знаешь! Нет, вру, и люди тоже знали: кто нас, детей, музыку писать учил! Я услышу сонату Бетховена – и ее нотами запишу! Ну так, изменю немножко, чтобы сразу было не узнать. Или токкату Баха! Из-под моего карандаша

такие токкаты текли, струились! Плыли как корабли! Просто возьму и переделаю Баха. Легко и изящно! Учитель за рояль садился, играл, что я сочинила, и смеялся. Трепал меня по щеке. Не воруй у Бетховена! Не воруй у Баха! Сама пиши, свое! Ни у кого ничего не бери займы! А то привыкнешь, дитя, и так-то и будешь жить!

Господи... прости... а ведь так и жила...

Где поступок стащу. Где – жест. Где буквы и слова чужие. Где масла пачку – старуха забыла на подоконнике. Где чашку кофе в кафе, прямо с подноса у официанта, пока он поднос на стол поставил и беседует с барменом. Где камертон – а как же самой мне пианино настраивать, ноту "ля" определять? настройщик отвернулся, я шась рукой к нему в торбу и камертон из кармашка вытащила. Прямо в чехле. И денежку ему за настройку заплатила! И благодарила, и кланялась! И с собой ему пачку печенья дешевого, на мыло похожего, сунула, к чаю! А он печенье в торбу сует и хохочет: печенье что, для моряка это пыль, надо бы коньяк! И я хохочу. Авось не заметит! Подумает: где-то на улице камертон потерял!

А свою музыку я играла одна. Играла самой себе. Я не могла ее никому играть, потому что она состояла из всех на свете музык, которые я знала, любила и играла. Но зато я могла днями и ночами напролет играть ее самой себе. Лоскутное одеяло мое! Дорогое! Золотое! Изумрудное! Миленькое мое, драгоценное, серебряное, рубиновое! Музыка моя чудесная! Да разве я тебя кому отдам! Пусть ты, моя музыка, из чужих лоскутьев состоишь. Но это я тебя такую сшила! Я! Сама! Рукодельница! Лоскут такой, лоскут сякой, где плохо лежит, подобрала и пришила, что намереди услышала, то сюда и вложила, и прилепила, и присобачила, и гляди-ка, как оно все хорошо-то получается! Красиво! Красота неопишная! Я просто сшиваю воедино, соединяю то, что мне безумно нравится, что я люблю всем сердцем, а разве сердцу запретишь любить? Разве, Господи, любовь – это кража? Разве любовью не оправдано то, что любишь? А все, кто меня осуждает, – да что такое все! Все – меня не знают! Какая я, на самом деле, хорошая! Какая я вовсе даже не воровка, не грешница никакая, а просто любящее большое сердце, оно обнимает всех и вся, оно бьется-то ради вас, люди! И ради Бога! А вы так и зырите, так и шныряете глазами, что кто у кого украл! И уличаете нас в преступление! Меня! Меня уличаете! Господи, ведь однажды меня-то за руку и правда схватили!.. Ты – помнишь...

Записали меня в музыкальный конкурс. На нем надо было каждому композитору песню спеть, собственного сочинения. А мы всем курсом на картошку ездили. И вот у костра одна девчонка, я не знала ни имени ее, ни откуда она, спела песню. Красивую! Я никогда такой красивой песни не слышала. И я с ходу ее запомнила! С голоса! И присвоила. Нотами себе в нотную тетрадь записала! Поехали мы на конкурс. Долго ехали поездом, двое суток. Дорогу нам оплатили. В том городе ели на улицах растут, сосны, все в снегу, в инее. Привезли нас в торжественный зал. Люди нарядные, как павлины. Люстры горят ослепительно! Меня вытолкнули на сцену, петь. Я подошла к микрофону, встала на цыпочки, маленького я росточка ведь, и чисто, нота в ноту, спела ту чужую песню, у костра. Голос мой отзвучал. Жду рукоплесканий! А зал молчит. Молчит, и так грозно! Я опешила. Забоялась. Отступаю от рампы к кулисам. Я отхожу, а молчание на меня напоззает! И вдруг из зала такой громкий, отчаянный голос как взовьется: да ведь это песня нашей Кати Запаловой! Каткина песня! Она ее – в концертах пела! на пластинку записала! А ты, ты – украла! Украла!

И тут что в зале началось! Все повскакали с мест. К сцене бросились! Я – удирать за кулисы. Люди на сцену взбегают, меня норовят изловить! Ну точно как зверя! Поймают, шкуру сдерут! Я забила за шторы. Влезла на ящик от декораций и шторой от толпы закрылась. А люди орут, вопят: воровка! воровка! дрянная такая! ишь, чего натворила! и думала, никто не узнает! ну, попробуй только, высунься, тварь! Мы на тебя в суд подадим! За плагиат! За кражу эту бесстыдную, наглую! И у Катки нашей прощения попросишь! Прилюдно! При всем честном народе!

Они внизу, подо мной, все кричат и гудят, а я наверху, на ящике этом шатком, стою. И думаю: только бы ящик не подломился! только бы не упасть! И, черт ящик тот возьми совсем! он трещит подо мной, подгибается и валится на пол. И я вместе с ним валюсь. С грохотом! И среди досок обломанных лежу. Занавес оборвала с карниза, так крепко вцепилась. Люди замолчали. Застыли. Стоят вокруг меня. Тяжело дышат. И тут вдруг голос раздался. Спокойный такой. Тихий. Но твердый. Ну, валяйте, люди, растерзайте ее. Морду ей набейте! От души и от сердца! Только те бейте, кто ни разу в жизни, никогда не своровал ни у кого ничего. Кто – никогда не крал. Ну? Кто не крал? Кто – святой? Вперед!

И слышу я тишину. Особую тишину. Каждое в ней дыханье слышу. Валяюсь, и пол холодит мой тощий бок, ребра мои, и боль в ноги, чую, я ногу сломала. Но это мне уже теперь все равно, рука, нога. Главное что-то такое для всех этот невидимый человек сказал. И все замерли. И только дышат. И больше ничего.

И я дышу. Дышу, Господи.

Я тогда в Тебя не верила, Господи. Маленькая еще была! Люди ушли. Я лежу. Подходит главный на том конкурсе человек. Спрашивает меня: ну, ты все поняла? Я гляжу на него. Ну ты как? Встать можешь? Я опять гляжу. Он руку протягивает, пытается меня поднять, а я ору от боли. Увезли меня в больницу. Наложили гипс. Ко мне в больницу приехала только одна женщина. Я ее запомнила. Густые рыжие кудри, она их еще начесала, и начес тот стоял вокруг головы рыжим дымом; а на лицо она была прямо буфетчица с вокзала, рот ярко и густо крашенный, брови сажей подмазаны, щеки помадой нарумянены, серьги кольцами, как у цыганки. Бедра обтянуты лосинами с блестками, на шее стеклянные пошлые бусы тремя слоями навешены. У нас такие кралечки в подворотнях стоят, дешевки, давалки. Она представилась местной журналисткой. Вынула из сумки яблоко: я не Елена Троянская, но, ха-ха, дарю! Расскажите, как на вас напали в консерватории! Как вам ногу сломали, расскажите! Видите, как вы пострадали! Это должны знать, обязательно! Из первых уст! Как вас казнили принародно! Какие все-таки люди звери! И вынула записную книжку, и уже писать за мной приготовилась. А я гляжу с больничной койки на ее рыжие кудри и ей говорю: люди не звери, и я не Мария Стюарт, и голова у меня еще на плечах, не отрубил мне ее палач топором, и ногу я сама сломала! Случайно! И отвернулась лицом к стене.

Домой приехала я в гипсе. И с этими криками в ушах: воровка! воровка!

Люди, милые, простите меня. Прости меня, Катя Запалова. Я тебя только у того костра и запомнила. Простите мне все, у кого я что своровала. Я не злая. Я добрая. Ну я просто вот такая. Господи! Ты видишь все. Скажи хоть Ты им, что я хорошая! хорошая! хорошая...

Богородица Владимирская смотрела из темного угла Любане в спину громадными, как мир, глазами. Мир на миг моргнул и скорбно, слезно глядел опять. Любаня положила бессильный лоб на скамью, принесенную дворником с помойки. Так сидела, и слезы тихо лились на деревянную грязную плаху.

Встала, обняла, как живую овцу, овечий докторский полушубок. Легла на лавку. У нее еще хватило сил натянуть на себя овечий мех. Положила образок Николая Чудотворца себе на грудь. Обеими руками держала распятие. Поднесла ко рту. Целовала. Железо холодило губы. Есть не хотелось. Пить не хотелось. Жить не хотелось. А чего же еще хотелось?

Она вспомнила, как ее дразнили в музыкальном училище. Мальчишки показывали на нее пальцами и кричали: старуха Шапокляк! Любаня, бедняжка, ходила на занятия в старорежимном, до пят, пальто, купленном в комиссионке, и в длинных черных юбках. И еще ей для холодов купили на рынке старомодную шляпу с фетровой гвоздикой на боку. Так удивительно, уродливо одевала ее мать. Ее бедной матери казалось: это богатая и достойная одежда – пальто как у барыни, шляпа с цветком. Мать не замечала, что ее дочка, тощая уродка, люто стесняется этих нафталиновых тряпок.

Старуха Шапокляк, раздвинулись губы в последней усмешке, прощай, старуха Шапокляк.

Она закрыла глаза, и в комнату вошли ее мертвые, забытые отец и мать. Она не видела их лиц. Только слышала их дыхание, шорканье обуви по грязному, давно не мытому полу. Две человеческих тени боязливо остановились у ее лавки. Она ощущала тепло, от теней оно струилось к ней слезной дорогой, и этого было довольно. Она украдала родителей у смерти: на мгновение, спасибо Богу и на этом. Хотела улыбнуться им, рот уже не слушался. Вошла, а может, с потолка, из-за черно-золотой иконы спустилась еще одна тень. Артистка мела черным монашьям подолом половицы. Ее лицо Любаня видела и с закрытыми глазами. Артистка подошла близко. От нее пахло французскими духами. На груди висела гитара. Пальцы нежно тронули живые струны. Гитара зарокотала. Голос зазвучал: он плакал и молился, а потом он спел: прощена, прощена навеки, Богом обняты человеки. Поцелованы Господом Богом, на земле погостим немного! Прощена, прощена за все грехи! Свете тихий, и слезы твои тихи. Прощена навсегда и вновь, потому что ты есть Любовь.

Потому что я есть Любовь, аз есмь Любы, сказал внутри нее голос почему-то по-церковному, на забытом языке, так гудел древние речи отец Виктор на амвоне в храме Вознесения Господня, а прихожане с любовью и восторгом нестройным хором подпевали ему, и последней мыслью высветилось в перевернутой чаше обтянутого кожей голодного черепа: спасибо доктору за шубу, под ней так тепло, – и за нее улетающую далеко мысль додумывал Кто-то больший и старший, строгий и честный, кто никогда не воровал и никогда не плакал по грехе своем: музыка, спасибо тебе, ты согрела меня, ты приютила меня, ты никогда не ругала меня и ни за что не наказывала меня, ты одна подавала мне руку, когда я поднималась и снова падала, ты поняла, что я ворую не со зла, а собираю с жизни мед, как пчела, ты одна приласкала меня в холодном зимнем мире, ты простила меня, значит, музыка, ты и есть Бог.

Овечий полушубок тихо заскользил и сполз на пол. Сквозняк чуть позванивал цепью лампадной стеклянной, рубиново-красной чаши.

Люди, что явились в квартиру много позже, матерясь, с грохотом выламывали дверь. Но Божией Матери Владимирской это уже было все равно.

Сын лежал, отец ухаживал за ним.

В больнице уже весь персонал знал: к Матвею Филиппычу вернулся сын, и он смертельно болен. Главный врач предложил: а давайте-ка, дорогой Матвей Филиппыч, сынка-то к нам, в палату! – и получил ледяной надменный ответ: что я, сам сына не выхожу? Главный задумчиво поглядел мимо Матвея, в широкое окно. Ну вы же знаете, дорогой Матвей Филиппыч, знаете... Да, кивнул он, я знаю все и даже более того. Но я верю. Главный усмехнулся. Для веры нужна не только вера, а нужны еще десятки препаратов, каждый из которых стоит сотни тысяч рублей. Он у вас еще не кричит? Еще нет, сказал Матвей и вышел из кабинета главного, и изо всех сил постарался не хлопнуть дверью.

Не было в мире ничего, что могло бы спасти их обоих.

Принести еще лекарств. Зарядить еще капельницу. Проткнуть еще вену; на локтевых сгибах кубитальные вены уже были все исколоты, он втыкал иглу в худые запястья, в синие жилки на тыльной стороне ладони, однажды воткнул в лодыжку, а сын неуклюже дернул ногой, игла вывалилась из-под повязки, Матвей чертыхался, опять иглу втыкал, руки дрожали, плакал, потом целовал сына в лоб и виски и судорожно, нервно гладил его по впалым щекам. Ты не огорчайся! я же все поправил! нет, лекарство не вытекло! все в порядке! это очень хорошее лекарство, тебе будет лучше! Завтра будет лучше, вот увидишь!

Он покупал на рынке у таджиков и узбеков рыжий урюк и колол абрикосовые косточки старинным молотком. Вынимал ядра и совал в рот сыну: жуй! Сын жевал. Ночью его тошнило и рвало. Сестра-хозяйка в больнице присоветовала ему: пусть пьет соду, один наш больной стаканами пил, и поправился, вот ей-богу! Он купил коробку, на ней крупными буквами стояло: "ПИТЬЕВАЯ СОДА", он вскрыл ее и долго глядел на мелкий белый порошок. Развел чайную ложку соды в теплой воде. Отпил глоток. Плюнул в раковину, содрогаясь от отвращения. Дал сыну выпить чашку. Ночью опять его вырвало.

На другое утро отец пошел в церковь и купил там в церковной лавке икону Божьей Матери Казанской. На черном бархате лежали нательные крестики, золотые и серебряные цепочки, образки: Богородица, Николай Угодник, святой Пантелеймон целитель. Отец купил серебряный крестик, пришел домой и надел на шею сыну.

Бать, это лишнее. Ну зачем ты.

Так надо. Это поможет.

Чему поможет, не смеши меня.

Сынок, я сам не знаю, чему. Но все носят и молятся. И ты носи и молись.

Бать, да катись оно все к чертям, какие молитвы? Я вырос давно из этих детских штанишек. А ты, бать, видать, их еще и не примерял.

Сын пытался сорвать крест с груди слабыми пальцами, но не сорвал. Оставил.

Отец принес из больницы судно и утку. Выносил за сыном. Глядел, нет ли пролежней. Пролежней пока не наблюдалось. Сын пытался смеяться при виде утки. Чесал себе грудь под рубахой. Отец задирает рубаху и рассматривал его кожу: нет ли чесотки. Нет, просто грязь и пот, мыться пора. Отец носил его в ванну на руках. Сын очень исхудал. Отцу казалось: он, когда домой явился, был потолще. Отец давал сыну обильное питье, чайник то и дело стоял на огне. Чай, сок, минеральная вода, травы. От кашля грудной сбор № 4, лучше всяких иностранных пилюль. Сын грыз абрикосовые косточки и горькие косточки миндаля, да грызть-то нечем – три зуба во рту, и те шатаются. Батя, я ведь курил когда-то. Еще недавно курил. А ты куришь? Как раньше? Нет, сынок, я уже стар курить. Иногда засмолю, после операции. А, ты все-таки оперируешь? Редко. А меня, бать, можно прооперировать? Ну, легкое мне, к примеру, вырезать к едрене-фене?

Отец думал секунду.

Нет, сыночек. Нельзя.

Вот даже так? Ну я понял. Кранты мне.

Ты лежи спокойно. Я чайник выключу.

Отец выключил на кухне тонко, пронзительно поющий ржавым свистком обгорелый чайник, прикрыл глаза рукой и трясся у черного ночного окна, глотая слезы. Фонари били в окно копиями лучей. Алмазные навершия разбивали стекло, оно затягивалось трещинами, как иномем. Отец вытирал ладонями мокрое лицо и выходил к сыну, улыбаясь. Сынок, а на ужин у нас сегодня тушеный кролик! Батя, я не буду есть кролика. Мне его жалко.

Кто это сказал, взрослый мужик? Или ребенок, весело сидящий на детском деревянном стульчике, и размахивает вилкой в крепко сжатом кулаке? Он проткнет себе вилкой глаз, осторожней! Выньте у него из руки вилку, отберите!

Вилка лежала на столике. Рядом с салфетками. Сын вертел в руках серебряный крестик. Рассматривал, как сушеную стрекозу.

За окном плясала вьюга. Матвей слушал хрипы сына. Он слушал их как музыку. Сын еще жив, и отец еще жив. Они оба живы, и это уже счастье.

Отец присел на край дивана. Диван сердито скрипнул. Простыня сползла, обнажив зеленое озеро смешного гобелена, ветки сплетались, деревья клонились, по веселому небу неслись пухлые сдобные облака. Рука больного бездвижно лежала поверх одеяла. Восточные кошки,

свернувшись в черные шелковые клубки, спали у Марка в ногах. Отец положил руку на руку сына и тихо, тихо попросил:

– Сынок. Расскажи мне о себе.

Сын разлепил ссохшийся рот.

– О себе? А разве...

Отец понял, он хотел спросить: а разве все, что было со мной, правда?

– О своей жизни. Ну, как ты жил.

Сын облизнул губы. Отец глядел на его жесткий, как наждак, бледный язык.

– Бать. А разве я жил?

– Ну, жил, конечно. И теперь живешь!

– А когда помру? Молчишь?

– Ну, не хочешь, не рассказывай.

Отец хотел встать с дивана. Услышал за собой хрип:

– Черт с тобой, батя. Слушай. Расскажу я тебе. Только обещай...

Матвей повернулся к сыну. Губы его стыдно дрожали.

– Что?

– Что ни разу меня не прервешь. И реветь, как баба, не будешь.

– Обещаю.

Матвей ссутулился. Взял руку сына в обе руки.

Погрел его руку дыханием, будто сын шел долго по морозу и вот пришел в тепло, и замерз, и дрожал, и он хотел ему своим теплом его ледяную, железную руку отогреть.

Одна черная кошка на миг проснулась, вытянула по одеялу тонкие бархатные лапы. Потянулась. Коротко муркнув, уснула опять.

Сын набрал в грудь воздуху. Хрипы усилились.

Он стал рассказывать.

Рассказ сына был страшен.

Отец видел себя в сыне, как в кривом ужасающем зеркале.

Но кривое это, ледяное зеркало бесстрашно отражало погибшую правду.

Правду – и время.

Часть вторая. Рассказ блудного сына

Я хорошей жизни хотел. Нет! батя! неправильно я сказал. Не хорошей, а – роскошной. На вокзал сперва пешком пошел. Потом думаю: что это я, как нищий! Тачку тормознул. Богатую. Водила на меня косит, с таким презреньем. Я его мысли читаю: пацан, килька в томате, ты ж за десять метров дороги не сможешь зачистоганить! Я ему говорю: на вокзал гони. У вокзала встал, смеется уже в открытую, ждет. Я вытаскиваю деньги из-за пазухи, пачку. И отслюнявливаю водиле черт знает сколько. У него шары вывалились. Я дверью сильно хлопнул. Бать, я деньги у тебя украл. Я шел и шептал себе под нос: я вор, вор. Это звучало как "герой". Я впервые в жизни у отца украл. И это оказалось так классно. Наслаждение! Безнаказанное! Мне за это никто пощечину не даст, к стенке не поставит! Вокруг меня люди крутятся. А я – столб карусели. Вокруг меня все кони бегут, и ослики, и козочки, и яркие шары, и девчонки и мальчишки на лошадаках сидят, в трубы дудят. Ду-ду! Громко продудели! Мою жизнь продудели! Да, все эти люди. Все поезда эти. Я оглянулся туда, сюда, к кассе подошел. Деньги из кармана вынул, они потные. Я их крепко в кулаке зажал. Жалко отдавать. Руку все равно в окошко просунул. И сам нагнулся. Кричу: мне билет один! до Москвы! Москва казалась огромным пряником. Град-пряник. Откусить хоть кусочек. Про себя я думал: ну я-то уж не кусок, от меня-то уж не откусят. Кассирша мне орет из-за стекла: вам на ближайший?! Я ей ору: да!

на ближайший! Она мне: а он отходит через десять минут, успеете?! Я ору весело: успею! Я быстро бегаю! Кассирша выписала мне билет и дала сдачу. Я стоял и глядел на деньги на ладони. Бумажки и кругляши, серебряные, медные. Денег стало меньше. И жизни – меньше. Я побежал на перрон, мой поезд отходил уже, медленно так от перрона отчаливал, я впрыгнул в вагон на ходу. Отдувался. Пот лил с меня. Проводник долго изучал мой билет, чуть на зуб не пробовал. Я устал ждать, когда он мне билет обратно отдаст, и бросил ему сквозь зубы: ну, ты! давай кончай изучать бумажку, не докторская ведь диссертация! Он ткнул мне билет в пальцы и тоже сквозь зубы процедил: щенок, куда едешь, ты, рожа воровская!

Он как чувствовал, тот проводник, что я вором стану, – мятая пилотка, грязная рубаха клетчатая, форменный пиджачишко на тощие плечи накинута. От рожи у него табаком пахло: курильщик. Ну очень тощий. И кашлял надсадно. Вот как я сейчас.

Я нисколько не жалел больных. Болеешь? ну и болеей. И вообще я не жалел никого, кто страдал, и в особенности кто жаловался. На жалость бьешь? – а не хочешь, я тебя тоже побью? Словами, да. Или просто от души по морде дам. И тогда иди жалься кому другому. Юный был, жестокий. Нет, бать, я и сейчас жестокий. Еще больше жестокий, чем прежде. Просто я видел жизнь с разных сторон. Со всех, наверное, сторон я ее видел. Мне повезло. А тому, кто плачется, не повезло. Он увидел только ее пыточные орудия: дыбы, клещи, топоры, испанские там сапоги всякие. А я еще кое-что у нее видел. Потом, бать. До всего еще дойдем.

Поезд ехал себе, у меня щеки горели. В зеркале в вонючем туалете я глядел на свою румяную рожу. Кудлатый, лохматый, красный как рак, веселый, столица нашей Родины скоро-скоро, – эх, гуляй не хочу! Живи! А как я хотел жить? Я и сам не знал. Ноль мыслей в башке. Нет, что-то такое, роскошное, я себе воображал, конечно. Ну, комнату найду, сниму. Телефонную книжку в киоске куплю. Буду по телефону звонить туда, сюда, в разные крутые места. На работу устраюсь? нет! зачем мне работа! Можно прекрасно жить и без работы. Да! прекрасно!

Я не размышлял особо, какой это способ – превосходно жить без работы. Я знал.

Я знал: я буду вором. Так захотел.

Вор – это тот, кто отнимает у другого сначала его вещи, потом его мысли, потом... его жизнь, это понятно, сейчас мне понятно, но тогда я об этом еще пугался думать. Гнал от себя эту мысль, о чужой жизни. Я хотел сначала немножко пожить – своей. А моя – она какая? Немножко денег в кармане куртки, напротив сердца, и ветер в голове! Метель, пурга! Поезд подгробал к Москве, и золотая осенняя метель, из листьев, что по ветру неслись, сменилась белой. Первый снег, мать его! Я таращился в окно. Эх ты, какие огромные дома! Я никогда таких не видал. Я сидел на вагонной полке, открыв рот. Поезд шел между домами, как корабль во фьорде. Дядька, попутчик, зло сказал мне: "Закрой пасть, парень, муха влетит".

Вышел. Давлю ногами перрон. Следы мои на снегу. Черные утюги! Вспомнил, как ограбил магазин с дружками. Дружки в тюрьге. А я на свободе. Значит, я умнее! Да знаю, знаю, бать, ты заблажишь сейчас: это я, я тебя выкупил! Ну, выкупил, ну, так захотел. Сыночка спасти. Это твое личное дело. Что, скажешь, сам бы я не вывернулся? Вывернулся. Я – скользкий. Я уж, угорь. Иду вперед, плыву, угорь. Толпа вокруг. Толпа везде одинакова. Подошел к вокзалу. На нем объявления ветер рвет. "СДАМ КВАРТИРУ", "СДАМ КОМНАТУ НА НОЧЬ", "СДАЮ ЖИЛЬЕ НА СУТКИ, ПЛАТИТЬ ЗАРАНЕЕ", ну и все такое. Я несколько адресочков оторвал. Пригодятся. Вошел в здание вокзала. Это Курский вокзал был, на Курсняк мой поезд приплюхал. Вошел – и застыл. Страшную картинку вижу, бать. На полу бродяги вповалку лежат. Кто спит, кто ворочается. Воняет от них! И все, как монахи, в черном. Будто по команде в черную одежду нарядились. Или она от грязи черной стала? Спят. А один среди спящих – сидит. И что-то в руках перебирает. Будто четки. Я издали не видел. Ближе подошел – гляжу: это баба, как мужик, в штанах, и она вяжет. Крючком вяжет черный берет. Вдруг ноги у меня ослабли. Я жрать сильно хотел. А баба от вязанья глаза поднимает, и – в меня их вонзает. Как два крючка. Молчим, и она и я. У нее щеки ввалились, и глаза голодные. Я ей говорю, на

автопилоте: "Мать, я щас в буфет схожу, пожрать куплю!" Она мне: "Бреши больше!" Я пошел в буфет, купил сосиски в тесте, по карманам рассовал, купил два бумажных стакана горячего черного кофе. Несу кофе этой бомжихе, он дымится. Или оно? Пес с ним. Ставлю бумажный стакан на гранитные плиты, рядом с теткой. Она растерянно вязанье положила на колени, и я сосиску в тесте ей прямо в этот ее дрянной черный берет, на колени, как в миску, кладу. Бросаю небрежно: жри, бабка! И сам рядом с ней на корточках сажусь, кофе отхлебываю, язык обжигаю. Бать, ну до сих пор помню вкус сосиски этой в тесте, тесто чуть подсохло, а сосисочка отменная. Сочная. А баба, в растерянности, как-то неловко локтем двинет – стакашек бумажный набок – бульк, и кофе как выльется, да под спящего рядом бродягу как потечет! Обожгло ему бок. Он дернулся, привскочил и как заорет на весь вокзал: ты! туда и сюда тебя так-пере-так! Жужелица! Меня облила! Так у меня щас ожог третьей степени на пузе! Ответишь! мазь мне в аптеке купишь и пластырь, растуды тебя! А тетка в это время берет сосиску и ест. Глядя на меня. И я ем. И мы оба жадно жрем эти сосиски дерьмовые. И смеемся. И вдруг меня сон сморил. Я сам не помнил, как я на полу этом оказался гранитном, на этих вокзальных плитах холодных, и руки себе под щеку подкладываю, и уже соплю, храплю. Сквозь сон еще помнил: тетка ко мне наклоняется и что-то мягкое мне под голову подсовывает. Этот ее черный берет шерстяной. Неоконченное вязанье. Вместо подушки.

Провалился в сон, в ночь. Вдруг среди ночи – меня по плечу – бац! И еще раз, по голове: бац! И по спине: бац! бац! Очень больно. Жуть! Я продрал глаза, а вскочить не могу, меня бьют и бьют. Тот, кто надо мной стоит, хорошо размахивается и крепко бьет. Я рассмотрел: дубинкой милицейской. Резиновой. От души лупит! Я ору. Кровь по лицу льется. Пытаюсь в сторону откатиться. А тот, кто надо мной, за мной идет. Я качусь – а он идет и лупит! И лупит! Роба уже вся расквашена. Э, да их тут много! Ментов! И все в черном! Униформы новые, как у фашистов! И все бродяг – бьют! Бродяги кричат, руки вперед выставляют, руками защищаются. Бесплезно. У одного бомжа с носа сбили очки, стекла разбились, вся будка в крови, он орет: "Ах вы стервецы, ах вот ваша вся демократия вшивая!" Я ищу глазами тетку мою. Наше. Уж лучше бы не находил. Ее за шиворот мент волокет. Доволок до барной стойки, хорошенько размахнулся – и дубинкой – с размаху – поперек лица загвоздил. Она как упадет навзничь. А у нее из-за пазухи вдруг – зверь вылезает! Маленький такой зверек! Белая мышка. Или крыска, не знаю. И зверек жалобно пищит, и он весь в крови. А баба замертво валяется. Черный мент ее бьет под ребра сапогом и выдыхает, как пьяный: "Развелось тут дряни! Вставай! Вставай!" Мышка белая ему под сапог сунулась. Он сапогом на нее наступил и придавил. Я впервые видел, как при мне убивали животное. Кровавая лепешка на граните. Она только пискнула, когда ее давили. И тетка лежит. У меня в ушах вдруг, бать, птички запели. Зазвенели, крохотные, колибри, соловушки. Зачирикали. Я даже боль ощущать перестал. Лежу как мертвый. Глаза закрыл. Черный поганец перестал меня бить. Я приоткрыл глаз. Черный всматривался в меня. Потом пнул, не сильно, а слегка: ты, мол, откуда тут затесался? Одежка на тебе клева. К бомжам зачем прибился? Что, не чуешь, как воняют? Или у тебя тут кто родственник? Я медленно сел. Вокруг меня ворочались, стонали избитые среди ночи бомжи. Я глядел на застывшую под вокзальными лампами бабу. Лежала не шевелась. И рядом с ней раздавленная ее мышка. Я сказал менту: вот она моя родня. Тетка моя родная. У нас дом снесли, для новостройки, я к бате жить поехал, а она вот бродяжить пошла. А ты зачем нас бьешь? Чем мы тебе не угодили?

Черный уже не слушал меня. Он уходил, утекал вместе с другими черными. Они вразвалочку шли по Курскому вокзалу, ноги кривые, дубинки от крови тряпками вытирали. Может, носовыми платками. Я не разглядел.

Бать, мне потом эта мышка раздавленная ой как долго снилась. Только засну – зверек приходит. Живой, и мордочка остренькая, и весь беленький, будто снеговой, и рядом садится.

И лапками мордочку умывает, а глаз – черная бусинка. Я бы такую мышку себе завел. Зачем ты мне слезы вытираешь? Брось! может, я поплакать хочу. Носом пошмыгать.

Они ушли. Я встал. Гранитные плиты в крови, в табаке, что просыпался из рваных сигарет. И этот черный берет. Недовязанный. Я его с пола поднимаю. И на голову напяливаю. Вот, думаю, первый снег на улице, а я из дома отлично убежал, без никакой теплой шапки, и в одной куртяшке задохлой, и кроссовочки не для зимы. Ничего, шептал я себе зло, вот настоящим вором стану и все самое лучшее себе куплю.

Вор, бать, вор. Сколько романтики! Москва раскрывалась, как черный веер, и на нем – приклеенные блестящие ночных фонарей. И глаза девок блестят. Ночью по Москве тогда много девок шаталось. Они все различались, кто что умел. Табель о рангах. Привокзальные. Эти давали даже на рельсах. Машинные: ну, кто около шоферов трется. Банные, это понятно, где промышляют. Когда шел мимо саун, часто встречал таких. Они и зимой, в морозы, перед сауной топчутся в лисьих шубенках чуть ниже жопки, в телячьих сапожках, в сетчатых колготках, – мерзни-мерзни, волчий хвост. Те, что снуют в толпе: их в толпе сразу видеть – ярче всех накрашены, и опять же в любой мороз без шапки, волосы замысловато уложены и все на виду. И серьги люто сверкают. Гостиничные около отелей тусуются. В кучки сбиваются. У дверей топчутся, к иностранцам ластятся. Возьми нас, возьми, от нас откуси! Еще частенько, столичными безумными ночами, видал я таких: рожи не первой свежести, и потрепанные, и даже уже откровенно старые, но вот он тебе грим, умелая краска, и за молодуху во мраке сойдешь, – они расхаживали у обычных домов, и сами типовые, банально так одеты, а это всего лишь означает, что в этой хрущевке подпольный бордель, и это рыбачки Сони как-то в мае перед своим офисом слоняются, гуляют. Ловят. Вор ловит одно, шалава – другое. А я что ловил тогда в Москве? Судьбу свою ловил. Подворотни! Мое время пошло, новое. Застучали часики, побежал отсчет. Мне будто голос с небес был: лови момент, другого не будет. И терпи все, что тебе под ноги на дороге упадет. Поднимай! К сердцу прижимай! Даже если это граната-лимонка, и сорвана чека!

Так вот с шалавами этими я отчего-то быстро общий язык находил. Чем это я им так приглянулся? Ума не приложу. А вот поди ж ты. Иные, как меня завидят, так хохочут, ладошку к губам крашеным прижимают, и ладошка вся пачкается в помаде. Я себя оглядываю: смешной я такой, что ли? Другие пальцем подзывают меня к себе. Одна, волосы иссиня-черные, на крупную вороную кобылу похожа, так подозвала меня, вынимает из кармана яблоко и мне дает. Яблоко, бать, ты такого никогда не видел. И я тоже. Это не яблоко, а целая тыква. Такое большое. Я яблоко беру обеими руками, прижимаю к животу. А ее товарки, этой, чернявой, вокруг нас кругом стоят, пальцами тыкают и вопят: "Ева, Ева!" Ева, мать ее. Так звали ее, я понял. Яблоко я сожрал. А чернявую под локоть подхватил дядька, круглый как шар, из шара палочки торчат: две ножки и две ручки. И повел, и она шла и не упиралась. Шла на работу свою.

Я догадался: шлюшкам я маленьким казался. Ну, пацаненком. Худенький, глаза большие. Обманчивое впечатление. Я был взрослый, хитрый и умелый. И ни жалеть, ни ласкать меня не надо было. Я хотел на первые большие украденные деньги купить себе большой хороший пистолет. Потому что я тогда уже знал: отстреливаться придется.

Да, подворотни. Я с вокзала начал, и подворотнями продолжил. Почему? А очень просто. Я хотел грабить, а ограбили меня. Пока я на вокзале том дрых на холодном граните, у меня из куртяшки, из кармана напротив сердца, все, бать, твои деньги, что я у тебя слямзил, и вытащили. Кто? Может, тетка та, с мышкой? Не думаю. Тетка эта, в портках мужских, была, я это чувствовал, честной. Ну, может, где со столов в буфете и тащила недоеденный крендель. А впрочем, зачем ручаться! Никто не знает, на что он способен. Я вот знал точно. Я хотел красть, а после жить хорошо, сладко.

Страну, бать, ты ту помнишь. Не помнишь, так напомним! Страна вся была одна сплошная огромная подворотня. И в нее не ходи. Заловят, руки за спину заломят, по карманам пошарят,

и скажи спасибо, что по затылку камнем не дадут. Иду по Москве. Красивый городишко, черт! Небоскребы, стекло, бетон, а тут колонны с лепниной, а тут решетки чугунные, кружевные. И церкви, церкви. Вон как боженьку любят, купола аж до слепоты начистили! Новые храмы наспех строили. Я эти новоделы не любил. Уж лучше старина. Однажды я в церковь забрел, прихожанином прикинулся удачно, потихоньку к иконе одной маленькой подгроб, и, пока поп гундосил, а певчие пели, среди теплой толпы и кучи огней незаметно смог ее со стены снять. А скрытых камер тогда в церквях не понатыкали. Я иконку под куртку – вжик! – и пячусь, пячусь. Вот я уже у двери. И надо же, старухе на ногу со всей силы наступил. На больную. Она как взвояет! И блажит на всю церковь: "Отдавил, отдавил! Ножечка, ножечка моя!" Все на нас стали оглядываться. И вижу, сквозь толпу эту умоленную мент пробирается, в форме, все честь по чести, прямо ко мне. То ли он тут молился, то ли это у них такая охрана маячила. А тут, как назло, у меня икона из-за пазухи выпала! Я ее подхватил и опять за пазуху, да все уже все увидели. Заорали как резаные! Я повернулся и бежать. Он за мной. Я деру дал как следует! Выбежали из храма. Я бегу впереди, он следом, и свистит в свисток. Подворотня! Я в нее. И между домов спую, и пригибаюсь, думаю, как бы не стал ментяра стрелять! Подворотня, счастье мое, вот и ты на доброе дело сгодились! Убежал я тогда. Унесся! Только и слышал за собой свисток. Свисти, мент поганый, все деньги высвистишь!

А иконку ту я дорого тогда загнал. В одном антикварном салоне, не в центре, нет, на окраине. Антиквар долго вертел икону, мял ее медный оклад, как старый драп. Щелкал ногтем по грязным рубинам, по гладким зернам опалов, в них красные огни перекатывались, по мелкому просу речного жемчуга. "Сколько ты хочешь?" – спрашивает, исподлобья глядит из-под совиных очков. И глаза выпуклые, птичьи; еврей, должно быть. Я говорю, сколько. Цену я заломил, это да. Но это потому, что я никаких цен не знал. Брякнул наудачу. Антиквар пучеглазый головой покачал, как маятник: туда-сюда, туда-сюда. "А ху-ху не хо-хо? Губа не дура. Но ты ее, мой мальчик, раскатал!" Я пожал плечами и цапнул иконку со стола. За пазуху засунул и шагнул прочь. Человек-птица схватил меня за полу куртки. "Ну, ну. Не кипятись. Думаю, сговоримся". И мы сговорились.

Я был впервые в жизни богатый, бать. Жутко богатый! Конечно, сейчас вспомнить про эти иконные деньги смешно. После всего, кем я был и чего навидался. Но тогда! За пазухой вместо краденной иконы у меня лежали в конверте новенькие хрустящие бумажонки. Я жмурился, как кот. Гуляй, рванина! Для начала я зашел в модный бутик, долго оглядывал полки, долго шастал меж вешалок и примерял всякую всячину, зырил на себя, красавца, в примерочной в большие, до потолка, зеркала, а на меня подозрительно косились продавщицы, а я делал им глазки и губки складывал, как они, сердечком, дразнил их. Девчонки фыркали и поворачивались ко мне спиной, задика обтянуты короткими юбчонками, такие дивные задика, крепкие орешки. Они ждали, что я у них вот-вот что-то куплю. Я ничего у них не купил. Надул я их! Пошел в магазинишко дурацкий рядом, в обычный, и там приоделся. Я решил не сорить деньгами. Москва есть Москва! В ней надо иметь за пазухой на черный день. А потом, надо же жить где-то, снимать комнату, а еще лучше, пусть это и другие бабки, хату снимать, в хате твори что хочешь, догляда за собой нет, ты не представляешь, бать, как я нажился дома, под надзором неусыпным, туда нельзя, сюда нельзя, это полезно, это вредно, руки по швам, а где был, а ну дыхни, а ну кивни, а ну пырни! Вот свобода. Она и правда сладкая! Слаще меда! Вино, пей и пьяней!

А вокруг шумела, вспыхивала и шуршала ценными бумагами, а может, предсмертными прощальными письмами бешеная девка Москва, старая шалава, накрутилась густо, а штука-турка сыплется, и себя за молодуху выдает, дорого продает, да ей никто не верит! Около станций метро, круглых каменных жерновов, стояли бабы с вещами в руках. Вещи разномастные: шапки, сардельки, мыло, духи, шампунь, булки, старые бусы, и вертят на красных на морозе пальцах, кто с пишушей машинкой в мешке топчется, мерзнет, кто с перепелиными яйцами в

изящных коробочках, кто бобровым воротником, со старой шубы срезанным, трясет: купите! купите! ах ты черт, бать, как ты пел раньше: купите фиалки, букетик душистый! Морозец знатный, ну, я и решил, я ж при деньгах, себе норковую шапку купить. И купил! Нашел! Отличная шапка, и мне как раз. Совсем чуть-чуть ношенная. И просто за копейки! Бабенка мне кланялась вслед, будто я был царь Горох. Я в шапке иду. На Москву гляжу! Будто лечу над ней, и сверху вниз на Кремль смотрю и на ее Красную площадь! Шарф у меня через плечо, ярко-красный, цвета крови! Смешливо думаю: на Лобном месте в крови, брат, выпачкался! И что ты думаешь? Сдернули с меня в подворотне эту шапку. Когда я к себе домой, в комнатенку свою, по снегу плыл! Каморку я у самой Красной площади и снимал. Тоже за копейку! Дом на слом. В том доме жили дворники, бедные актеры, нищие художники и пара бомжей. И я. И туда, в старый, как белый школьный скелет, дом этот надо было опять подворотней идти. Напали! Подножку сунули. На снег повалили! Избили. Деньги выгребли! Шапку сорвали! С моей буйной... головы...

Опять я без денег, и опять бедняк – ну как это переварить? А?

И, главное, как из этого выкарабкаться?

Тут волей-неволей воров станешь. Обретешь все воровские ухватки.

А вся Москва, да и страна вся стала воровской малиной. Жестко говорю, да? Это я еще слишком мягко. Вся страна стала одной огромной подворотней, ни конца ни краю. И всех, кто мимо этих чугунных ворот бежит, грабят: р-раз – из-под арки – рванутся, мешком накроют – цоп тебя, и обчистили! Ободрали как липку! Оглянуться ты не успел. И хорошо еще, если под зад ногой поддали, бежишь, не оглянешься. Скажи спасибо, не убили! Жизнь! Все в жизни приспособляются. Не приспособишься, не выживешь! Не повалешься, не поешь! Приспособление, бать, это такая беспощадная штука. Как воровство. Раз своруешь, потом не удержишься, тыришь. Раз приспособишься, подлижешься, приклеишься – и напешься, и обогреешься, и выживешь, – потом уже без этого подхалимажа жить не сможешь. В крови он уже течет! Вот скажи, что мне делать было? Я нищий. Голый абсолютно. Все мечты о богатстве разбились, как хрустальный, ешки-тришки, бокал. Из комнаты выперли. На вокзале ночевать? Домой вернуться? Домой, бать, да ты не смотри так. Не нужен мне уже тогда дом был, и ты не нужен был, и мешчанская эта житуха не нужна. Советские вы люди все равно. Краснофлажные. Старые книжки вы, и страницы жук поел. Старые трусливые ежи. А тут иное время настало. Злое, да! Но яркое. Ослепительное.

Иду вечерочком одним по Тверской. Везде надписи на Тверской на магазинах и ресторанах уже английские. "ПИЦЦА ХАТ" – читаю. А слюнки текут! Не для меня. Не для меня Дон разольется, не для меня, не для меня. Из ресторанов сытые люди выходят, на иностранных языках лопочут. У меня с английским всегда было плохо. Я не умел ни цокать, ни шепелявить. Ни катать гласные во рту, как леденцы. А интересно, о чем говорят. Ни черта не понимаю. Встал рядом. Тихо так стою. Мужик такой, веселый, кудреватый, дамочку под ручку держит. Бабенка ничего. В соку. Мужик староватый, но ничего, сойдет. Видать, сговорились. А я тут воздух ушами стригу, зачем? Хотел уже плюнуть и отойти, пока меня не турнули, и тут к бабеночке подкатывается хмырь и щурится на рекламу. Наш, русский хмырь. Ну, думаю, ясен пень, сутенер. А дамочка валютница. И тут этот хмырь ей такое говорит – у меня уши на затылок сами двинулись. "Дашка, – говорит, – я еще двух стариков обработал, и еще четверых Ванька Луков привез, короче, у нас сегодня три хаты наших, да одна проблема, забиральщика нам надо! У тебя, Дашк, на примете никого нет? Мы отлично будем башлять! Чувак не обидится!" Дамочка, Дашка эта, не отбирая руки своей у иностранца, наклоняется к этому хмырю, щурится и цедит: "Может, и есть, а сколько платить-то станешь?" Хмырь рот открыл. И изо рта у него вылетела такая цифра – закачаешься. Я и закачался. Улица Тверская, вечер, холод, фонари. Бабы носы в шарфы кутают. Лохматый иностранец кудерьками трясет. А хмырь неотрывно на Дашку смотрит. Я, под фонарями, в свете жутких красных реклам, будто на меня кровь чья-то льется,

шагнул вперед из тьмы и проблеял: "Ребята, тишина в студии, я буду вашим, этим, как его, забиральщиком".

Они, все трое, на меня уставились. Прохожие идут мимо, реклама горит в высоте, струит красную ледяную кровь. Я стою с чувством собственного достоинства, не дергаюсь, не шустрю. Ну я же не сывка! Не жалкий фраер какой-нибудь! Жду. Хмырь меня от затылка до пяток обсмотрел. Будто на мне, как на рояле, грязными пальцами все клавиши перебрал. И послушал, как звучу. Звук мой ему понравился. Он улыбнулся. И Дашка эта разубалася. А чужеземец стоит, башкой кудрявой встряхивает и даме все бормочет: "Летс гоу, летс гоу!" Ну эту хрень даже я понял. Пойдем, пойдем! И за руку ее тянет. Она вынула из кармана костюма маленький перламутровый веер и этим веерочком иноземного мужика по рукаву ударила. И по-русски сказала: "Отстань, подожди!" И к нам повернулась. Хмырь опять улыбался. "А ты не боишься?" Я хоть и тощий с виду, а парень не промах. "А ты-то сам не боишься? А то за угол зайдем, и..." – "Что "и", ствол вытащишь?" – "И вытащу", – сказал я и засунул руку в карман, вроде как там вольну ощупываю. Хмырь подмигнул дамочке. "Смелый парень!" Дашка эта зубы в улыбке оскалила. "Я смелых люблю". – "Но, но! – вскинулся хмырь. – А меня? Я еще какой смелый!" Иностраный мужик покорно ждал в сторонке. Он ни черта не понимал по-нашему, я видел.

"Давай работай, – подмигнул Дашке хмырь, – а мы с парнем пойдем перетрем все дела". Дашка под ручку с иностранцем усвистала, а мы с хмырем пошли перетирать дела.

Ночь опустилась. Черный платок валяется на Москве, на всех ее башнях, шпилях, крышах и трубах. На куполах. Дома горят, крутыми софитами подсвечены. Мне часто эта ночь снилась, ночь и Москва, Замоскворецкий мост, желтый как сотовый мед Манеж, красные зубчатые стены, река черная, в диких огнях, масляная, огромные купола, размером с подлодку, и эти звезды кровавые, кровь в них мерцает и медленно перетекает, можно видеть кровь света, как на рентгене. И все здания алмазными гирляндами облеплены. Как елки. Елки-палки, короче! Вот по такой ночке мы с хмырем и идем. Он мне: "Давай знакомиться! Митя Микиткин". Я буркнул: "Марк я". – "Марк, а дальше?" – "По батюшке тебе?" – обозлился я. Митя прищелкнул пальцами. "Дерзкий! Люблю! Наш человек!" Я недолго думал. "Не наш, не ваш и никогда ничьим не буду". Митя скорчил рожу. "А зачем же тогда со мной поперся? А может, я тебя сейчас куда заведу..." Я уже смеялся. "И что, заведешь, на столе разложишь и выпотрошишь?" Он тоже смеялся. "Заведу, руки свяжу, на столе разложу и поимею! Власть!"

Время, скажешь, такое было, батя? Извращения всякие? Батя, кончай. Пороки были всегда. И будут всегда. Их человек с себя не стряхнет, не выведет их на себе, как вшей.

Долго ехали на метро. Приехали. Станция "Перово", жить там херово; станция "Новогиреево", жить там еще хереевей. Вылезли. В автобус сели. Ехали-ехали-ехали. Шли-шли-шли. И пришли. В чистом поле, на пустыре, стоит домик-крошечка, в три окошечка. Длинный такой, будто конюшня. Или свиноферма. И вроде бы пахнет свиньями. А может, навозом. Я нос ворочу. Митя меня, как даму, под локоть по грязюке ведет. Ворота ногой толкнул. На крыльце мнемся. В дверь постучал условным стуком. Дверь нам открыли. В коридоре темень. Из темноты два глаза, как два карманных фонаря. Как у совы! И веками хлопают. Мультик, короче. Я, как дурак, кланяюсь. Митя опять берет меня за локоть, только уже крепко, не вырвешься. И бросает этим совиным желтым глазам: "Нашего человека привез. Забиральщика. Неопытный? Всему обучим".

Так, батя, я стал забиральщиком. Что тарацишься? Слово плохое? Не хуже и не лучше всех остальных. Я забирал из столичных квартир стариков и привозил их сюда. В дом престарелых. Митя Микиткин называл его пышно: дом милосердия. Там такое милосердие творилось! Погоди, до милосердия еще дойдем. Какие старики сами подписывали документы. Какие – под нажимом. Какие швыряли бумагу в лицо нашим агентам, и агенты пятились и проваливали, а на другой день у подъезда тормозила машина, и из нее выскакивали мы. Забиральщики. Звонили в дверь. "И хто та-а-а-м?" – "Слесаря. Плановая проверка канализации!" Дедушки, а

в особенно бабушки страх как боялись, если канализацию прорвет. "Ша-а-а-ас!" Долго кряхтел ключ в замке. Бабка или там дедка открывали дверь. Воняло черт-те чем. У кого горелым печеньем, у кого мочой. Мы врвались. Хватали старика, старуху за жабры. Совали в рот кляп. Аккуратный такой, резиновый. На детскую клизмочку похож. Укутывали в шаль. Чтобы лицо закрыть. Ножки свяжем, ручки свяжем. И – на носилки. И – несем, будто в "скорую помощь"; а мы-то в белых халатах, как медбратья, все честь по чести. Не подкопаешься. Да никто и не подкапывался.

Старикан уже в машине. На сиденье сажаем, у него зенки из орбит вылезают. Мычит! Водитель с места в карьер. Где-нибудь уже за кольцевой – кляп из зубов вынем. И хохочем, ржем! А старикан плачет-разливается. И верещит: "Только не убивайте! Только не убивайте!" Мы ему: "Сдались нам твои старые кости, дедок". – А куда ж вы меня везете, милки?!" – "Куда надо. В дом милосердия!" И привозили. И сгружали перед крыльцом. И выходил, бать, знаешь кто? Главный врач этого самого дома. Как его звали, угадай с трех раз? Верно, Митя Микиткин.

Стариков этих мы там недолго держали. Убивали, спросишь? Вон глаза какие страшные сделал. Они сами мёрли. Мы их заставляли работать. Кого сапоги тачать, кого бревна таскать. Знаешь, бать, уроки великого Советского Союза не прошли даром. Беломорканал там, Чуйский тракт! Селедочка соловецкая, мать ее! Уголек воркутинский! Труд облагораживает человека, внушали мы им, труд освобождает. Трудитесь хорошо – и мы вас выпустим отсюда. Они верили. Даже кто шить сапоги не умел – шили! И халаты синие, черные на швейных машинках строчили, рабочие робы сатиновые! Мы их потом на Черкизовском рынке продавали. Хорошо те халаты шли. И сапоги сбывали. По дешевке. А старики долго не выдерживали. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино! Дошли. Просто пачками. Мы их нарочно плохо кормили, дерьмово, суп в рот не возьмешь, второе как замазка. Витаминов нет, свежего воздуха нет, кого и били, издевались, прямо по лицу лупили, они на пол головой шмякались, сотрясение мозга, ать-два, и в дамки. Ну, на тот свет, значит. Я первое время забивался в угол, забирался на чердак, там такой чердак был, голубиный, а может, мышиный: то ли птичий помет всюду валяется и, сухой, хрустит под ногами, то ли мышканы слезки. Я туда приду, скрючусь в углу, возле слухового окошка, и реву. Ревел всласть. Ну, тогда еще, наверное, человеком был. А потом стал постепенно превращаться в железную болванку. Так было легче жить. Выжить.

Старуха там была одна. Ох, хороша! Голова на шее гордо сидит. И плевать, что шея сморщена, как у черепахи, а волосы как метель белые. Зато какие густые! До старой собаки густые. Воображаю, в молодости какая была. Огонь, конфетка с коньяком. И стройняшка! Никаких жиров на задку и животе, никаких толстых подушек. Подтянутая, что тебе балерина. Волосы эти метельные, густые, в прическу укладывала, крупными кольцами. Фыркала: "Что у вас за бардак, тут вообще душ есть или нет? А джакузи?" Микиткин хапнул у нее удивительную квартиру: с зимним садом, с малахитовым джакузи. На улице Чайковского, в сталинском доме напротив американского посольства. Не квартирка, а мечта поэта! Красивую старуху звали чудно: Нинель Блэзовна Ровнер. Я думал, она еврейка. Ан нет. Она мне про себя рассказала. Отец, Блэз, был француз. Парижанин. Украиночку в Одессе подцепил. Еще до революции. Хохлушечка забрюхателя. Нинельку родила. А французик погиб, в лучших традициях, на баррикадах – в красной Одессе, сражался за русского царя. Легенда, выдумка уже этот царь был! Что за вчерашний сон биться! Убили его. Мать Нинелькина ее петь выучила. Нинелька консерваторию окончила, с блеском. В театральный институт в Москве поступала. А ее взяли и в одном летнем платьице – в телятник, и на восток, в Приморье, в уссурийские лагеря. За что взяли? А это ты Сталина спроси, за что. За красоту, видать! Туда много евреев отправляли, Сталин, видать, как Гитлер, с евреями боролся. И девочка эта нежная, худышка, а голос у ней с целый дом, в глаза бросилась этому ее муженьку, Ровнеру. А Ровнер-то кто был? ни за что не догадаться. Флейтист из оркестра Госфильмофонда! Нинелька кошкой жмурилась: "О, Марк, если бы вы слышали, как флейта пела в его руках!" И вы пели вместе с флейтой, брякнул я. "И я

пела", – кивнула она, и лицо у нее, знаешь, таким стало серьезным, и таким красивым, что я впервые в жизни захотел у женщины руку поцеловать. У старухи. Но для Нинель времени не было. А-а-а-а... Извини, зеваю.

Она от гнева умерла. Да, от гнева! От злости тоже умирают. Я теперь знаю. У нас там, в доме этом милосердия, был подвал. А проще, погреб. Туда мы спускали особо вредных стариков. Ну, когда кто провинится, не сделает дневную норму или поскандалит. Или еще что-нибудь отчебучит. И вот старик там был один. Простецкий такой, совсем не изысканный, говорил даже на "о", как деревенщина. Ухватки грубые. Короче, люмпен чистый. От станка. Или вообще от сохи. И вот Нинелька к этому старику – душой прикипела! Что она в нем нашла? Я зайду в каморку, где спала Нинелька и еще шестеро старух; глядь, опять они оба на кровати сидят, и рука в руке, как голубки. Любовь такая, глупость большая! Я, честно, дивился: и в девяносто с гаком лет, оказывается, можно любить! Да еще как! Смотрят друг на друга, не намотрятся. Мужик, старый гриб, и старая королева. Мезальянс, черт! И, знаешь, доставляло мне удовольствие несказанное на этих старых голубей глядеть! Однажды я зашел, они так сидят. Я им от двери бросил насмешливо: ребятки, козлятки, поцелуйтесь! Слабо?!

И они... бать, они... поцеловались...

И вот этот старикан, мужлан, не помню что сделал, но Митьке не понравилось.

А для шкодливых стариков у нас особое наказание было.

Митька сам производил казнь. Он вразвалку подходил к старику, который набедокурил, и внятно, угрожающе говорил: "Папе не понравилось!" И старик начинал дрожать мелкой дрожью. А Микиткин медленно так берет его за шкурку и медленно тянет за собой, и доводит до входа в погреб, и ногой отпахивает доски, что дыру закрывают. Вглубь ведет лестница. Шаткая. Иные старики с нее падали, а глубина погреба метра три или больше. Разбивались, кости ломали. Оттуда, из-под земли, охи, вопли, стоны. А Митя крышку закроет, песенку сквозь зубы засвистит и так же вразвалочку уйдет. На весь дом эти стоны разносятся. На вторые, третьи сутки утихают. А через неделю Митька сам в погреб спускается. Если старик еще жив – он его добывает. Рукою вольны по башке. Но там, в погребе, чаще всего уже мертвец валялся. Меня или кого другого из забиральщиков звали на подмогу. Мы спускались по лестнице в черный ад и вытаскивали оттуда, из ада, мертвых ангелочков. У них такие лица были, бать! Ты таких никогда не видел в своей больнице. И не увидишь. Человек, который умирает не просто в муках, а в ужасе и унижении, у него такое лицо, такое... передать не могу. Перевернутое. Мир для него перевернулся. И лицо перевернулось. На месте рта – глаза. Подо лбом – рот. Поглядеть, кондратий хватит, не очухаешься.

Старик тот, Нинелькин запоздалый хахаль, на койке своей сидел колченогой, морщинистую рожу вскинул, когда Митька к нему утенком разлапистым подходил. Митька подошел и руку тяжелую старикану на затылок положил. Так подержал. Потом ка-ак даст ему подзатыльник! Старик с койки на пол свалился. Другие старики завозились, заахали. Митька пинками его поднял и пинками же погнал вперед. Старичок брел, спотыкался и чуть не падал, за стены держался. Я понял, куда Митька его ведет. В погреб. Так и есть. Довел, крышку откинул, под мышки взял и вниз спустил. Старик цеплялся за ступеньки чахлой лесенки и орал недуром. Митька захлопнул крышку. Я слышал, как он крикнул над закрытой крышкой погреба: "Посиди тут, подумай о жизни!" И ушел. Вразвалочку, как всегда.

Потом, помню, мы ели в специальной, для нас, жральной комнатенке. Ну, вроде столовой. Варила нам одна из старух. Она сначала отказывалась, Митька выпорол ее ремнем, и она стала стряпать. Она раньше работала поварихой. Сам Бог велел.

И вот мы поели-попили, а меня тошнит. Тошнит уже от всего этого. И, хоть Микиткин нам всем, и забиральщикам, и юристам, и водителям, деньги хорошие платит, я подумываю, как бы отсюда сделать ноги. Спасибо, как говорится, этому дому, пойдем к другому! То-се, дальше время течет, я про старикмана того и думать забыл. А тут мне Митька водочным хрипом на

ухо шепчет: ты, поди красотку кабарэ проведай, кажись, бабка помирать собралась, ну так давно ж пора. Я вспомнил про старикашку. "А тот, хахаль ейный, с мордой как у селедки, он где? в подвале?" Митька хохотнул. "Эка припомнил. Да его ребятки давно уж в лес сволокли. И закопали. А мадамку его в погребницу не спустишь. Она сама по себе сдыхает. Лежит злая как черт, как я подойду – мне в рожу плюнет! Бить ее бесполезно. Она вся будто из железок скручена. Поди глянь, а?" И я пошел в палату к старухе.

Палата, громко сказано. Каморка! Как у них у всех тут, у стариков. Подхожу к ней. Лежит, вытянулась. Койка под ней не шелохнется. Как мертвая. Глаза открыты. В потолок смотрит. Я протянул руку. Я ее, бать, пожалел. По лбу мраморному погладил. Эй, говорю, Нинелька, ну, это самое, Нинель Блэзовна, вы как тут? вам, может, поесть принести? С другой койки старушня жалобно верещит: "Дык ето, парнишечка, дык она не ист ничево уж какой денек! Она – голодовку объявила!" Я старух обвел глазами и грозно спрашиваю: "Вы что, хотите сказать, что у нас тут тюрьма, да?" Все молчат. Пришипелись. Я сел на табурет, у изголовья старухи. Руку ее в свою взял. Ну как доктор, елки. Или как этот ее хахаль, покойный. И нежно так ей говорю, и голос мой, слышу, дрожит, и стыдно мне все это лепетать, но вежливо лепечу все равно: "Вам обязательно надо пожрать. Ну хоть немножко. Я вам куриного бульона принесу, с белым мясом". Мне с кухни миску куриного супа приволокли; его старикам не положено было, а варили только нам, персоналу; старуха-повариха мяса щедро, от сердца, наложила. И хлеба белого кусочки. Я кусочек раскрошил, в бульон покидал. Ложкой подцепил и Нинельке в рот сую. А рот у нее уже как дупло в коре дуба. Она лежит, глаза в потолок уставлены, но головой вдруг как мотнет, и плюнет, и ложку боднет, и ложка в одну сторону полетела, суп в другую, на колени мне вылился, горячий, а я на табурете весь оплеванный сижу. Обжегся. И в слюне старушечьей. Анекдот! Я это перетерпел. Себе говорю: может, она уже с ума сбежала, и вся эта еда напрасна. Миску крепче ухватил и ложку в рот ей опять толкаю. Она опять плюет. И вдруг рот разлепляет – и мне говорит, хоть и без вставных челюстей валяется, да отчетливо так, зло: "Убийцы. Дряни. Грешники вы великие. Вы будете гореть в аду. Если не покаетесь. Бог – есть!" И замолкает. Старухи вокруг крестятся испуганно, молча. Говорить боятся. Я тихо поставил миску с бульоном на пол. Вроде как для собаки. А собаки нет. Они все тут собаки. Принимаются, суп чуют, вот-вот загавкают, еды попросят. И уже вижу: голодные, к миске подбираются. Тихо тапками шаркают, подползают. Жадно на миску эту глядят, глаза горят! Я обозлился. Встал, к двери шатнулся, выйти. И тут за спиной голос услышал, Нинелькин, жесткий, злой: "Нам ад при жизни сделали! А вы в аду будете гореть после смерти! Вечно!"

И больше она, бать, мне ничего не сказала. И никому.

Умолкла навсегда. И так, молча, и померла.

Мы мертвых стариков закапывали в ближнем лесу. Сначала на опушке, потом вглубь леса стали продвигаться. И Нинельку в лесу закопали. Я сам закапывал. Я яму рыл, напарник мой Нинельку к яме в мешке доволол, и так, в мешке, мы ее в яму сбросили и землей забросали. Забросали, я себя слушал, нутро свое: как я? переживаю: нет ли? что я чувствую? ну хоть что-нибудь чувствую? Я ничего не чувствовал. Как панцирная сетка. Дзынь, и тихо. Дом милосердия шиворот-навыворот то пустел, то опять наполнялся. Мы процветали. Микиткин богател. Нам отламывались от краденых стариковских квартир кусочки. Он нас хорошо содержал. Чтобы мы горя не знали и могли хорошо жрать и хорошо развлекаться. Я в Москву часто ездил: в рестораны, в киношки, залавливал дешевых девчонок, я ж говорю, они меня любили. "Марк, душечка! А ты при деньгах? Марк, хочу ликер "Амаретто"! Марк, а пойдём в зоопарк, хочу на павлинов поглядеть!" Кто-то из них вел меня к себе в хату. Малина, хаза, опасный кельдым! Кто-то забегал со мной прямо в подворотню. Тьма, снег, ветер, я портки расстегиваю. И мы оба смеемся. Эх, кабы знать, что я буду те деньки-ночки вспоминать, как самое светлое времечко! Несмотря на то, что я в доме том милосердия – на смерть работал...

Батя, в жизни есть только смерть. Ты ж это тоже прекрасно знаешь, вшивый ты доктор Лектер.

И я это уже тогда знал. Знал, что без смерти никакой жизни нет, и смертью за жизнь надо платить, и смерть жизнью, да, можно побороть, только временно. Все на свете временно! Вечна только смерть. А мы еще копошимся, дергаемся. По мне, так давно надо перестать дергаться. Конец один. Видишь, каков я? Погляди на меня. Блевать не тянет? Да ладно, отвернись. Я не об этом. Зашел в кафешку, там зеркала до потолка, у зеркала стоит красавец парень, Том Круз просто, аж лоснится от красоты, в зеркалах отражается, вертится, себя, как бабенка, придирчиво разглядывает. А я разглядываю его. Беззастенчиво. Он меня в зеркале увидел. Обернулся быстро. Глазами меня измерил. Думаю: сейчас бросит мне ругань, как кость, а я ее подберу, сгрызу и его позову: пойдем выйдем. Ну, из кафе на воздух, чтобы удобнее в морду дать. А он вместо матюгов – мне так изысканно: "Привет! Ты отличный типаж. Я как раз такого, как ты, искал! Тебя как звать?" Я приосанился. "А тебя?" Мы сразу стали на "ты". "Я Антон Богатов, а ты?" Я буркнул: "Марк". – "А фамилия?" – "Неважно". – "Будем снимать, что, псевдоним в титрах?" Я вытаращился. "Я не шлюха, чтобы меня снимать!" Он хохочет. "Дурень, я режиссер. Мы тут фильмца один забабахали! Ты нам подходишь. Ты что в жизни-то делаешь?" Ну не говорить же этому Тому Крузу, что я стариков втихаря убиваю. Я и отвечаю: "Ничего не делаю. Жизнь прожигаю. Жгу с двух концов!" Он опять хохотать. "Не промах ты! На тебе визитку. Звони! А у тебя визитки случайно нет?"

Бать, я визитку впервые увидел. Вертел долго в пальцах квадратик глянцевого яркой бумаги. Том Круз исчез, как дым рассеялся. Вокруг меня зеркала кафе, холодные, я словно среди айсбергов один стою. Даже жрать расхотелось. Кино! Вот так история! Значит, от Митьки надо сбегать. А тут такое дело. Митька в дом милосердия на этот раз не старика привез, не старуху. А девчонку. Такую странную, до предела. Я про себя называл ее – девочка из будущего.

Ада ее звали. Милое имечко, да? Она была эмо. А, брось, все равно не поймешь. Черные чулки, полосатая кофта, руки в рукавах прячутся. Волосы пестрые: прядь черная, прядь розовая, прядь седая. Ощущение, что о башку ее художник кисть вытер. На груди, на бельевого веревке, болтается игрушечный череп. Веки покрашены так, что вместо глаз на роже торчат две черные дыры. В волосах бантик, как у куклы. Умора. Она мечтала о смерти, Ада. Только о ней и говорила. В первый же ее вечер в доме милосердия мы с ней курили вместе, на тумбочку блюдце чайное поставили, пепел стряхивать. За сигареткой она много чего мне поведала. Тебе это неинтересно. Я ее спросил: ты что, Митьке квартиру подписала, и он тебя на ренту обещал посадить? Ты что, больна неизлечимо, спрашиваю. Она ржет-смеется и новую сигарету из пачки тянет. Пока сидели вечерок, всю мою пачку искурила. Я только глядел, как она дым колечками пускает. Нет, говорит, я не больна. Но умереть, говорит, хочу. И очень даже! Я ей: почему? Жизнь что, такое уж дерьмо? А она мне: нет, жить, может, оно и клево. Но умереть – это высший кайф. Кайф – не быть. Тебя нет, и ты не страдаешь, и никто не страдает вообще. Нет – великое слово. А у тебя, говорит, еще сигареток нет?

Ну я, вместо сигареток, ей и брякнул: радуйся, тебя здесь живо укокошат! Тебя куда надо привезли! Она ресницами покрашенными хлопает. Меня, говорит, Дмитрий сюда привез позабавиться. Ну, отдохнуть. Ну, с ним отдохнуть. Ну, покурить, мне шнурки курить запрещают. И с мужиками спать тоже запрещают. А я хочу. Смеется, а зубы черные. Черной краской выкрашенные. Жуть. Я на зубы ее смотрю. Оторопь меня берет. Я шепчу ей, сквозь дым: поспите всласть, и он тебя прямо в постели задушит. Что будет с родителями твоими? Она мне так серьезно: у меня шнурки крепкие, они выдержат. А когда я умру, мне до них дела не будет. А им – до меня. Поревут и забудут. Все на свете все забывают!

А у меня под темечком одно бьется: кино, кино. Кино, вино и домино!

Ночное кино, жесткое порно, с Адой в главной роли, я не видел. Но слышал. И все забиральщики слышали, и все старики. Ну, может, только совсем глухие не слышали.

Через пару дней я подобрался к ней и тихо, но отчетливо сказал у нее над ухом: сегодня делаем ноги, готовься. Она вздернула плечи. Потрогала этот свой дурацкий глиняный череп на полосатой груди. Тоже тихо отвечает: а что готовиться, я готова, хоть сейчас сорвемся. Вот тебе и жажда смерти. Каждый, каждый хочет жить. Даже четвертованный, обрубок, самовар. Даже этот, как его, лысый хibaкуся, облученный в Хиросиме япошка: ему на земле всего ничего осталось болтаться, два понедельника, а и он хочет жить. Даже эти, эмо. Умру, умру! А сама: давай, Марк, не зевай, спаси меня. Осень, дождь, иногда со снегом. Я уже в куртке накинутой, вроде прошвырнуться в лесок собрался. Ей бормочу: куртку надень. Она мне: нет никакой куртки у меня, ваш Дмитрий меня у дома подловил и в машину затолкал. Я мусор выносила. Все так быстро случилось! А сейчас случится еще быстрее, сказал я ей зло и рванул за руку. Вечер, темень, одинокий фонарь над воротами. Мы за руки взялись и быстро идем. Скользим по грязи. Обувка сразу вся перепачкалась. Я все ждал, что нам в спины начнут стрелять из-за ворот. У Митьки на крыше всегда сидел наблюдатель, вооруженный. Куда он провалился в непогоду? Может, покурить спрыгнул или отлить? Факт тот, что мы до леска добежали нормально. В тишине. И только когда взбежали на опушку, вслед защелкали выстрелы. Я толкнул Аду в спину: ложись! Сам на землю упал. Поползли. По грязюке. Как по сырому тесту ползти. Изгваздались оба в край. В лесок вбежали, я знал тропу к шоссе. Побежали. Бежим и падаем. Ада зацепится ногой за сосновый корень – и бух! Я поднимаю ее, вымазанную, и дальше чешем. Как к шоссе подковыляли, не помню. Дождь такой сек, что мало не покажется. Ада мне кричит: тачку не заловим, нас таких в тачку никто не посадит, попачкать побоится! Я выбежал на середину дороги и раскинул руки. Стою крестом. Машины дудят! Одна тормознула. Дверца открылась, из дверцы на меня – ушат матюгов. В бога-душу-в-бога-душу-в-бога... Я морду трагическую скорчил. Кричу: за нами погоня! спасите! Голос изнутри проорал: "Да скорей вы, в бога-душу-мать-перемать!" Мы, все в грязюке, бухнулись на сиденье. Водила с места в карьер взял. Орет: "Вы что, ограбили кого?!" Ада молчит. Я тоже как воды в рот набрал. Водила гонит тачку, шпарит чуть ли на красный свет! Цедит сквозь зубы: "А это что ж такое, в бога-душу, а?!" И оборачивается. И мы, немые, оглядываемся. И видим, хорошо видим: за нами машина чешет, и эта машина – Митькина, и из этой машины в нас – стреляют.

Батя, батя, ну вот в тебя стреляли когда-нибудь? Нет? Ну и сиди тогда молчи в тряпочку! Ты не знаешь, каково это, когда пули свистят, а потом свист будто захлебывается, это пуля в твою тачку воткнулась. И стекло разбила. Или в сиденье застряла. Водила, с матерками, по шоссе виляет, газу дает. Погоня за нами! Мы на сиденье сжались, пригнулись. Он вопит нам: "Хрен ли я подобрал вас, щенки вонючие! Сейчас меня расквасят, и вас долбанут, и делу конец!" Газует изо всех сил. Тачка аж трясется. Все из нее выжал. Оторвались. Кольцевую проскочили. Слава Богу, без пробок. Уж поздний вечер. Москва, дома. Мрачные каменные строения. Шоферюга нас вывалил около светофора, на перекрестке. Мы – деру, а он нам в спины кричит: "В рубашке родились, вы, придурки!" Мы сами виляли по улицам, переулкам, пробежим десять метров – оглянемся, туда-сюда зыркаем, а на нас дьявол из блестящих прозрачных витрин – корявым манекеном смотрит. Кривой козел, да, а чуть отойдешь – из другой витрины – он же – лощеный такой, правильный, гладенький, глазки улыбочивые, ротик красочкой подмазанный, как у гея, а из ушей дым валит, и изо рта – дым. А может, дьявол курит, не знаю. Да, курит, и пьет коньяк, и девочек целует, и все что угодно. Может, человечек вшивый как раз этому всему у него научился. Мне один умный мужик, поп-расстрига, объяснял: человечек слаб, мелочен, мал, подл и грешен! Человечек гадок, мерзок, похабен, он пошлый и ушлый! Он только притворяется, что он создан по образу и подобию Бога. Хотя, продолжал этот занятный поп, росло это деревце в райском саду, ну, это, с яблочками, и вот все кричат: любовь! любовь! – а первым людям даже как следует полюбить не дали, завопили со всех сторон: грех! грех! И что, висит золотое яблочко? Висит груша, нельзя скушать! А если тот

Адам просто-напросто жрать хотел? И баба о нем позаботилась. Всего лишь! А вы на весь мир раскудахтались: грех, грех! – закричали...

Грех, грех. Мы вместе бежим по улицам. Улицы свиваются в ленту. Витрины и рекламы мигают, пестрят, по зрачкам больно бьют. Сливаются в одну яркую цветную кашу. Мы ею давимся. Шарахаемся. Мы...

...они сцепились руками крепко и больно, их руки не разорвать было, только если разрубить, и то Марк тянул Аду за собой, то Ада вырывалась вперед и, как на аркане, тащила за собой Марка. Сиамские близнецы. Бешеные двойняшки. Хотят родиться на свет и не могут. Ночной дождь сечет из лица, плечи и спины, они оба вымокли, будто в собственной крови, так темно, страшно стекают по ним толстые, перевитые, как веревки, струи ливня. Ливень тьмы, грохот орудий неба. Небо обозлилось на человека и решило его исстегать. Исхлестать, издубасить до смерти бичами ледяной воды. Неон адски горел над головами людей, гигантские рекламы вздувались и гасли, а потом срывались с насиженных мест и улетали во тьму, как воздушные шары или сиротливые громадные, древние птицы. Махали светящимися крыльями. Фосфор светился и трещал. В костер ночи люди подкладывали дрова: свои холодные и жалкие тела. Марк спиной понял: сейчас! Резко присел, дернул руку Ады. Оба миг, другой сидели на корточках. Пуля ушла над их головами. Разрезанный ею воздух неслышимо сомкнулся. Марк ввалился в темную круглую арку проходного двора. Ада – за ним. Они опять побежали. Задыхались. Белки глаз Ады блестели. У нее с черной челки свалился в грязь розовый бантик. Глиняный череп, выпачканный в грязи, мотался на груди. Кофта из кокетливо-полосатой стала половой коричневой тряпкой. Марк понимал: радоваться рано, за ними могут ринуться в подворотню. Он потянул Аду вглубь дворов, запутывая след, то и дело шараясь в такие щели меж домов, где мог пролезть только кот или тощий шкет. Они царапались, скреблись, вырывались из каменных когтей. Ползли и выползали. Оставляли на гвоздях и колючей арматуре, на ее железных костях клочья одежды. Дьявол гнался за ними по пятам. Он корчил им рожи. Они страшились оглянуться: думали, оглянутся – и застынут под ледяными, властными глазами рекламного василиска. Зрачки пульсируют красным неоном. Голубая и зеленая холодная кровь медленно, вспыхивая, течет по вздувшимся стеклянным жилам.

Ах ты, дьявол. Смышленный. И пахнешь ты паленым мясом. А, черт, это же из рестораничка так пахнет! Забегаловка в подвале. Они мимо бегут. Что, если? Он переглянулся с Адой. Дождь бил в их лица и нагло полз по их трясущимся губам. Они оба и правда очень замерзли. "Нас туда не пустят", – тихо сказала Ада. "Плевать, – ответил Марк, – нам их разрешение ни к чему. Мы сами войдем". – "Ты знаешь волшебное слово?" Она пыталась смеяться, не получилось. Из витрин, сквозь их прозрачное толстое стекло, обильно и мутно политое дождем, на них глядели, подбоченясь, изумительные, блестящие, крутые мэны и обалденные телки: роскошь столицы так и перла из них наружу, ее было видать за версту, и манекены так тщательно копировали живых людей, что у мужчин хотелось попросить прикурить "Мальборо", а одну из картонных девчонок ткнуть пальцем в бок – а может, у нее живое ребро! – и прогундосить ей в ухо: мать, да ты совсем даже ничего, одолжи на ночьку жемчужное ожерелье твое, дай поносить! На смуглых пластмассовых грудях мерцали камни: рубины, изумруды. Марк ногой толкнул дверь в подвальчик, откуда ползли сытные запахи. Они с Адой скатились по мрачной лестнице. Вошли в зал, и люди, жующие и пьющие за столами, уставились на них, с ног до головы в грязи, мокрых, с дикими, полными ужаса глазами. Марк не растерялся. Он выдохнул – громко, на весь ресторанный зал: "Только что со съемок! Кино снимают! Мы участники массовки!" Люди молча продолжали есть и пить. Только из-за дальнего стола раздался равнодушный, звенящий железом о железо, механический голос: "Кино? Где, где?"

И все смолкло. Играла тихая музыка. Марк подмигнул официанту. "От вас тут можно позвонить? Режиссеру". Халдей презрительно обвел его сонными, будто пьяными глазами.

Марк видел, он не верит ему. Но подвел его к барной стойке, к телефону. Марк пошарил в кармане и вытащил грязной дрожащей рукой, как курьей лапой, визитку режиссера Богатова. Набрал номер, пачкая пальцем циферблат. Трубку взяли. "Але? Антон? Это Марк, привет. Вот, звоню. Вот..." Он правда не знал, что говорить. Красавчик Том Круз, по имени Антон, на том конце провода, засмеялся и крикнул: "Ты сдобные булочки любишь?!" Марк отнял трубку от уха и очумело уставился на Аду. Она сидела за столиком и грела руки дыханьем. Ее сложенные у груди ручонки походили на маленький голый череп. Грязь медленно ползла у нее с висков по щекам, как черные слезы. Жрущие и пьющие тарацились на нее, но молча продолжали есть. В ресторане угощение превыше всего. Хоть костер тут загорись посреди зала, люди с места не тронутся. Так же будут сидеть и грызть цыпленка табака. И пить херес. И курить. И молчать. В ресторане всегда хорошо молчать, эй, ты, не замечал?

"Люблю!" – глупо крикнул он в ответ. Ухо ловило время и место встречи. Мозг деловито запоминал. Записал было нечем и не на чем. Рот повторял чужие слова. Марк подумал о том, что все мы в жизни говорим одни и те же слова. Только каждый складывает их в речь по-своему. Этим все мы и отличаемся; а так все мы одинаковы. Все мы, подумал он вдруг со странным облегчением, будто кто-то оправдал его, отмыл и очистил от тяжкого греха, все мы воры, воруем друг у друга, и прощенья не просим, потому что не за что и не у кого. Разве вор у вора должен прощенья просить?

В переулках жуткого града осталась их бегущая жизнь, застыла плывущая грязь. Дьявол скорчил пьяную рожу и подслушивал их теперь здесь, под землей, среди дымов и ароматов. Марк пошарил в карманах куртки. Бумажник был при нем. Он прерывисто, как ребенок после рыданий, вздохнул. Подсел за столик к Аде. Шепнул: "Пойди умойся". Она встала как пьяная, шатнулась вон из зала. Потом вернулась, и Марк с изумлением глядел на ее насквозь мокрую одежку. Его спасенная эмо выглядела как мокрая курица. "Что ты наделала?" – "Я постиралась", – просящим прощенья, тоненьким детским голоском вывела она фиоритуру. "Что тебе заказать?" Ада бестрепетно протянула пальчики к меню. "Дай я сама выберу".

Она долго возила зрачками по строчкам меню, что-то бормотала, Марк плохо слышал. Потом ткнула в меню пальцем, тоньше вязальной спицы. Он прочитал: "БУРГУНДСКОЕ, БОКАЛ". "А пожарать?" – сердито спросил. "Я хочу согреться", – проблеяла она и застучала зубами.

Еду он заказал сам. Принесли поднос, ставили на стол блюда. Над мясом вился парок. Вино мерцало свежей кровью. Марк уже знал маленькую курильщицу: заказал пачку сигарет "Кэмел". Эмо жадно ела, жадно и быстро выпила вино, жадно курила сигареты, одну за другой. Они молчали. Зубы Ады перестали стучать. Щеки зарумянились. Марк думал про сдобные булочки. Наверное, Антон имел в виду толстеньких, аппетитных бабенок, смутно думал он; а халдей, по одному щелчку его пальцев, уже волок новый поднос с новым угощением, и Марку нравилось чувствовать себя в глазах малютки Ады всесильным богом.

Они переночевали в гостинице около метро "Октябрьская". Спали на одной кровати, валетом. Утром, в дикий дождь, шли пешком через Крымский мост, опять держались за руки и смеялись. Дьявол, что бежал за ними, хитро прикинулся громадным городом – руки дьявола превратились в каменные столбы, ноги – в стальные опоры мостов, круглым животом станции метро он катился на них из-за поворота, ухмылялся и пропадал вдали острым, как нож, шпилем высоты. Город, мир и дьявол теперь составляли одно. Марк не мог их пока различить. Махал рукой: да ладно, потом. Они с девчонкой шли мимо витрин, и да, жизнь была витрина, за ее стеклом они могли хорошо и подробно рассмотреть себя – и сами себе они не нравились.

А ты бы могла работать живым манекеном, спросил девчонку Марк. "Могла бы! – гордо вскинула голову эмо. – У меня подружка знаешь кем работала? Рыбой! Ну, приделали ей рыбий хвост, блестящий такой, и плавники, на башку и на спину, к лифчику прицепили, и она плавала в огромном аквариуме, в рыбном магазине на Солянке!" И что, потрясенно спросил Марк,

долго проработала? "Нет, недолго! Она под водой задохнулась! Не выплыла вовремя и воду вдохнула! И захлебнулась! Не откачали!" Эмо подумала малость и выдохнула: "Счастливая!" Так может, зря я тебя от Митьки-то увез, вкрадчиво спросил Марк и подмигнул Аде. Она хохотала под дождем, закидывая голову, и в хохочущий рот ей влетали дождевые струи: она пила вино небес.

Они появились в назначенный час около дома, где их ждали. Ждали одного Марка, но он, позвонил в дверь и, когда ее открыли, вытолкнул Аду вперед себя. Богатов уставился на девочку. "Это что еще за чудище?" Марк прищурился, глядел из прихожей в сияющий роскошь зал: на столе, среди ярких яств и бутылок, стоял черный жостовский поднос, на нем горкой лежали крошечные сдобные булочки с изюмом. Богатов проследил за глазами Марка. "Еще теплые!" – похвастался он. Девочка сбросила ботинки, Марк не стал разуваться. Так, босая и обутой, они прошли туда, где им теперь надлежало быть, жить: в новую жизнь Марка.

Новая жизнь загомонила, вспыхнула, развернула веер и стала им заманчиво обмахиваться. Лукаво и бесстыдно. Сдобные булочки сладко пахли. Он слышал голоса: "Сухостоев, Сухостоев!" Огромный лысый человек шел по залу, раздвигая пространство лбом и гладкой, как кегля, головою. Руками делал такие движения, будто плывет. Толстые руки смахивали на неповоротливые ласты. Подвижные тонкие, замысловато изогнутые губы играли на лице. Марк воззрился на него и понял: это он к нему идет.

Сейчас его новая жизнь без стеснения подойдет к нему, хлопнет его пухлой, как задница, ладонью по плечу, как по заднице, и выпьет с ним вина. На брудершафт.

Светские гладкие плечи, полоумье тусовок. Антон Богатов сразу окунул Марка в ту воду, где он не плавал ни разу и не знал, как плыть и в какую сторону. Марку вся толпа, бестолково крутящаяся, нарезающая круги вокруг пиршественного стола, казалась странным детским фильмом, давно забытым мультиком: вот кланяются и выпрямляются фигурки, подают друг другу кукольные ручки, деревянно смеются, стыдливо зевают, вынимают из бумажников игрушечные деньги, – где я, кто меня нарисовал и оживил? Сдобные булочки, с виду вроде оторопь и ужас, а на деле никакой загадки. Антон просто их очень любил, особенно свеженькие, с пылу с жару. Время плыло мимо них грязной водой, мутной и вонючей, и так важно было, побултыхавшись в его месиве, принять чистый холодный душ, растереться и запустить зубы в свежий горячий хлеб. В булочку с изюмом.

Режиссер Богатов снимал странный фильм, он свято верил, что фильм будет иметь бешеный успех в первые дни проката; это была лента про человека, который убил женщину и всю жизнь в этом каялся; еще там были наркоманы, их осудили и посадили в тюрьму; еще там были подростки, что брили головы налысо, вздергивали кулаки и кричали: "Убей инородца!" – а еще был один герой, совсем не главный, но именно его Антон предложил сыграть Марку; человек, что задумал обокрасть другого человека, слишком богатого – а вышло так, что он обворовал целую страну. Странный и тягучий фильм, никому не нужный, тек со старинной серебряной ложки времени, как мед; истаивал, как сахар в дворянской сахарнице фамильного сервиза; Антон не владел формой, у него внутри просто жило очень много всяких чувств, и он толком не знал, как их показать. Воплотить, вочеловечить. Он с радостью снял бы, вместо всего фильма и суতোлки его героев, просто один голый, на пустыре, ветер и его завыванье. Этот ветер дул и выл внутри него, и он-то был начало и конец всего, альфа и омега. Но фильму, вернее, людям, что будут его смотреть, нужны были живые люди в квадрате экрана.

Этих людей Богатов искал там и сям. И находил. Не проблема была найти актера. Проблема была в том, чтобы снять сразу последний дубль. Зачем искать, работать? Все делается само. Эта девочка, дикая эмо, что она тут делает? Поставьте ее сюда! Нет, сюда! Девочка, да, Ада, ты знаешь, что говорить? Она знает! Она будет говорить! Девочка, у тебя лучшая роль! Парень, у тебя лучшая роль!

Он каждому говорил, что у него лучшая и главная роль. Люди глядели на него с почтением; он был царь, они – слуги. Он безжалостно, как собак за шиворот, таскал их по окраинам и пустырям в дождь и слякоть, в снег и пургу. После рабочего дня он закатывал пиры. Грязная одежда брезгливо сдергивалась и летела в стиральную машину. Эту прикольную девчонку, эмо, наряжали как Анджелину Джоли – платье декольте, туфли на каблуках шестнадцать сантиметров. Антон не удивился, когда, между двумя тостами, ему сказали: ваш актер покончил самоубийством после съемок. "Какая муха его укусила? Может, эта муха – я?" Заходился в хохоте, а все молчали. Марк неловко стучал бокалом о бокал Антона. "Богатов! Не парься! За тебя!" Через миг-другой народ весело гудел. Эмо, сидя в углу в кресле, старательно перевязывала на ботинке длинный шнурок. Марк глядел на яркую красивую тусовку, слушал возгласы, застольные речи, смешки и грызню, видел, как через стол летели пьяные плевки, его по глазам били белые молнии голых плеч и голых женских рук, он же был еще такой молодой, даже чересчур, малый щенок с острым нюхом, он раздувал ноздри и пытался учуять, откуда тут богатством несет, тут было столько богатого народу, а он был один тут бедный; нет, еще его жалкая эмо; тут плыли все осетры, белуги, севрюги, лососи, нерки, а он барахтался в этой золотой, серебряной водице один грязный ершишка. Колочие плавники свои гордо и жалко топырил. И никто тут не верил его важности. Все тут прекрасно видели: он – нищий ерш.

Ерш, ерш... им только отхожее место чистить...

Среди застолья ему камнем била в лоб мысль: а что, если и отсюда, из этого нового дивного мира, сбежать? а куда? Адреса такого он не знал. Где он жил теперь, тоже не слишком осознавал; Богатов поселил его в особняке своего богатого отца – в таком доме можно было потерять самого себя и никогда больше не найти. Марк подсовывал руки под позолоченный кран, вода текла сама собой, и он в испуге руки отдергивал и над собой смеялся. Кто-то невидимый каждое утро чистил ему штиблеты. Кто-то незримый накрывал стол к завтраку. Завтрак вроде обычный, но как преподнесен! Серебряный кофейник... ручка чашки – золотой завитушкой... На хлеб щедро намазана осетровая икра, и так пахнет, так... В стальном кувшине – жульен с жареными белыми грибами... Опять запах... пьянит...

Он научился обонять чужую жизнь как свою.

Где приткнулась его эмо, его жутковатая зебра, с полосатыми волосами и в полосатой кофтенке, он не знал, не вникал в это; вспоминал, как она говорила ему о смерти там, в доме милосердия: "Покончить с собой – правильнее некуда". Но он пока не хотел воровать смерть у смерти. Он хотел своровать жизнь у жизни.

Снега погребли землю под тяжелым белым ковром, но на улицах Москвы белизна тут же превращалась в вязкую, хлипкую черноту. Ни зима, ни весна. Вечное безвременье. Рекламы взрывались и неистово пылали, их невозможно было прочитать и понять – все на разных языках. На наречиях большого мира, что лежал за пределами столицы, за границей сломанной, как черствая булка в жирных руках, безропотной страны. А кто будет устраивать революцию? На любую восставшую толпу найдутся пушки. На любой народ, бегущий штурмом брать дворец, – самолеты и бомбы. Не стать ли мне военным, хулигански думал о себе Марк, и отбрасывал эту мысль в поганую корзину – она ломалась мгновенно, быстрее яичной скорлупы. Он хотел бы своровать у знаменитого генерала его славу, его ордена на кителе; и смеялся над собой, шептал: Марк, пора в детский сад. С жадностью первопроходца глядел он на съемочной площадке, где бегал кругами и оголтело орал в матюгальник Антон, на камеры на колесах, на гигантские софиты: он узнал, как делалось кино, а делалось оно совсем не так изящно, как смотрелось. У любого явления есть неприглядная изнанка. Он это хорошо понимал. Деньги воняли. Бугрилась узлами и заплатами обратная сторона роскошного холста. Стиралась позолота, и нагло просвечивала грубая свиная кожа. Марк царапал толстую кожу ногтем, напрочь сцарапывал жалкое поддельное золото, и его чуткие, воровские пальцы жадно осязали подлинную жизнь:

ему даже не надо было разглядывать ее в лупу, чтобы удостовериться: да, свинья, и откормленная лучшими отрубями.

Богатов щедро снабжал его деньгами. Марк косился: не гей ли, не переспать ли хочет? Откуда рекою, как шампанское в новый год, лились деньги на тягомотный Антонов фильм? А зачем ему было дознаваться? Ему просто нравилось жить в роскошестве, и он шептал себе под нос, бормотал: наслаждайся, это же временно. Рано он понял временность всего. И тем сильнее, острее ему хотелось своровать у времени время.

И все больше, волчком вращаясь среди чертовой кучи разнообразных людей, часто заглядывая им в лица, но никогда – глубоко в глаза, он думал о том, что вот он пока никакой не вор, а слуга: в услужении у смерти, не у кого-нибудь. Запах смерти он ощущал так же ясно и отчетливо, как запах тонко нарезанной на фарфоровой тарелке буженины на завтрак. Как она пахла? Уж не так, как у Митьки в доме милосердия. Не погано. Она душилась изысканными парфюмами и мазала себе черепушку яркими румянами. Все равно издалека видать было: идут кости, и гремят, и только шарахнуться от скелета, – и, может, опять спасешься.

Страна обратилась в такой гремящий костями скелет, из пыльного школьного кабинета анатомии, и страна мерно и медленно шла в завтрашнюю гибель, прикидываясь живой. Красное знамя сдернули с древка и растоптали, извозили в грязи. Новое, трехцветное, удивляло, как новое концертное платье знаменитой старой актрисы: а вот здесь, где морщины, заколите брошкой, пожалуйста, а вот здесь, не бойтесь, поглубже вырез! Народ бежал ночью на Лубянку и прыгал вокруг памятника давно мертвому вождю. Народ стаскивал эту позеленелую тяжелую бронзу с пьедестала, и плясал на поверженном монументе, как пляшут на костях врага. Народ бежал к дому, где пряталась власть, и защищал этот дом от огня, а другая власть дом расстреливала, как человека. Народ голосовал и надрывал глотки, бесился, дрался. За что? Марк не понимал. Он пожимал плечами: пусть дерутся. Звери всегда в клетке дерутся. Все равно мы все в клетке. И вся задача – стать дрессировщиком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.